

КЭТРИН ЭНН
ПОРТЕР

Корабль дураков



✦ ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА ✦

Зарубежная классика (АСТ)

Кэтрин Портер
Корабль дураков

«Издательство АСТ»

1962

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Coe)-44

Портер К. Э.

Корабль дураков / К. Э. Портер — «Издательство АСТ»,
1962 — (Зарубежная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-120101-2

Кэтрин Энн Портер (1890–1980) – американская писательница, журналист, общественный деятель, лауреат Пулитцеровской и Национальной книжной премии. Жизнь писательницы напоминает остросюжетный роман. Разорвав узы брака с мужем-тираном, Кэтрин пробует свои силы в качестве провинциальной актрисы, работает журналистом – ведет колонку театральной критики и светской хроники в маленькой газете, появляется то в Денвере, то в Нью-Йорке, трудится «литературным негром», пишет рассказы для детей. В Мексике знакомится с активистами левого движения, выступает активным критиком католицизма. Преподает в Стэнфордском, Мичиганском, Техасском университетах. Роман «Корабль дураков», изданный в 1962 году, приносит ей всеамериканскую славу, упроченную экранизацией Стэнли Крамера (1965). В дважды оскароносном фильме снялись звезды первой величины – Вивьен Ли, Симона Синьоре, Ли Марвин. Пассажиры гигантского лайнера «Вера» пересекают океан, направляясь в Европу. Путешествие от прошлого к будущему видится им удачным шансом оставить все плохое позади, решить все проблемы как по мановению волшебной палочки. Люди влюбляются, ссорятся, философствуют, строят планы на жизнь. Но далеко не всех пассажиров этого чудо-корабля ждут на другом берегу удача и счастье...

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-17-120101-2

© Портер К. Э., 1962

© Издательство АСТ, 1962

Содержание

Действующие лица	7
Часть I. Отплытие	9
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Кэтрин Портер

Корабль дураков

Katherine Anne Porter
Ship of Fools

© Katherine Anne Porter, 1945, 1946, 1947, 1950, 1956, 1958, 1959, 1962

© Перевод. Нора Галь, наследники, 2019

© Издание на русском языке AST Publishers, 2019

* * *

Название этой книги – перевод с немецкого: «Das Narrenschiff» называлась нравоучительная аллегория Себастьяна Бранта (1458?-1521), впервые напечатанная на латыни как «Stultifera Navis» в 1494 году. Я прочитала ее в Базеле летом 1932 года, когда в памяти у меня были еще свежи впечатления от моей первой поездки в Европу. Начиная обдумывать свой роман, я выбрала для него этот простой, едва ли не всеобъемлющий образ: наш мир – корабль на пути в вечность. Образ отнюдь не новый – когда им воспользовался Брант, он был уже очень стар, – прочно вошел в обиход, и с ним все сроднились; и он в точности отвечает моему замыслу. Я тоже странствую на этом корабле.

К. Э. П.

Действующие лица

на борту северогерманского пассажирского корабля «Вера» (см. справочник Ллойда), совершающего рейс от Веракруса (Мексика) до Бремерхафена (Германия) между 2 августа – 17 сентября 1931 года.

НЕМЦЫ:

Капитан корабля Тиле.

Доктор Шуман, судовой врач.

Судовой казначей и шестеро помощников капитана.

Фрау Ритгерсдорф, пассажирка с записной книжкой.

Фрау Отто Шмитт, у которой недавно в Мексике умер муж.

Зигфрид Рибер, издатель рекламного журнала дамских мод.

Фрейлейн Лиззи Шпекенкикер из Ганновера, торгует дамским платьем.

Профессор Гуттен, бывший директор немецкой школы в Мексике.

Фрау Гуттен, его жена, при них белый бульдог Детка.

Карл Баумгартнер, адвокат из Мехико, безнадежный пьяница.

Фрау Баумгартнер, его жена Грета.

Ганс Баумгартнер, их восьмилетний сын.

Карл Глокен, горбун; торговал в Мексике табаком и газетами, а теперь продал свой киоск и возвращается в Германию.

Вилибальд Графф, умирающий религиозный фанатик, возомнивший себя исцелителем болящих.

Иоганн, его племянник и в то же время сиделка.

Вильгельм Фрейтаг, «связанный» с нефтяной компанией в Мексике; возвращается в Германию за женой и ее матерью.

Юлиус Левенталь, еврей, фабрикант и торговец, поставляющий католической церкви всевозможную утварь; едет в родной город Дюссельдорф навестить двоюродную сестру Сару.

ШВЕЙЦАРЦЫ:

Генрих Лутц, бывший владелец отеля в Мексике, после пятнадцати лет отсутствия возвращается в Швейцарию; с ним фрау Лутц, Эльза Лутц, жена, и восемнадцатилетняя дочь.

ИСПАНЦЫ:

Бродячая труппа – певцы и танцоры, называющие себя цыганами; прогорели в Мексике и возвращаются в Испанию.

Женщины: Ампаро, Лола, Конча, Пастора. Мужчины: Пеле, Тито, Маноло, Панчо.

Дети: Рик и Рэк, близнецы, сын и дочь Лолы, шести лет от роду.

Condesa¹, обнищавшая аристократка, много лет жила на Кубе, по политическим мотивам выслана с Кубы на Тенерифе.

КУБИНЦЫ:

Шестеро студентов-медиков, направляются в Монпелье.

Супружеская чета с двумя малышами.

МЕКСИКАНЦЫ:

¹ Графиня (исп.)

Новобрачные из Гвадалахары (Мексика), совершают свадебное путешествие в Испанию. Сеньора Эсперон-и-Чавес де Ортега, жена атташе мексиканского представительства в Париже, ее новорожденный сын и няня-индианка Николаса.

Отец Гарса и отец Карильо, служители мексиканской католической церкви, направляются в Испанию.

Политический агитатор: толстяк в темно-красной рубашке, любитель петь.

ШВЕД:

Арне Хансен, ярый враг Рибера.

АМЕРИКАНЦЫ:

Уильям Дэнни из Техаса, молодой инженер-химик, направляется в Берлин.

Мэри Тредуэл, сорока пяти лет, развелась с мужем и возвращается в Париж.

Дэвид Скотт и Дженни Браун, молодые художники, любовники, впервые едут в Европу.

ПАССАЖИРЫ ЧЕТВЕРТОГО КЛАССА:

Восемьсот семьдесят шесть душ, испанцы – мужчины, женщины и дети, поденщики с сахарных плантаций на Кубе, высланные обратно на родину – на Канарские острова и в различные области Испании – после краха, разразившегося на сахарном рынке.

СОСЕДИ ПО КАЮТАМ:

фрау Ритгерсдорф – фрау Шмитт

миссис Тредуэл – фрейлейн Шпекенкикер

Дженни Браун (Дженни-ангел) – Эльза Лутц

отец Гарса – отец Карильо

Вильгельм Фрейтаг – Арне Хансен

Дэвид Скотт (Дэвид-лапочка) – Уильям Дэнни – Карл Глокен

Вилибальд Графф – Иоганн, его племянник

Рибер – Левенталь

Сеньора Ортега – Младенец и кормилица

Condesa (одна)

Новобрачные

Генрих Лутц – фрау Лутц

профессор Гуттен – фрау Гуттен – Бульдог Детка

Баумгартнер – фрау Баумгартнер – Ганс Баумгартнер

Шестеро студентов-кубинцев занимают две смежные каюты

Бродячая трупша:

Маноло и Конча

Тито и Лола с близнецами

Пепе и Ампаро

Панчо и Пастора

Часть I. Отплытие

Когда мы к счастью поплывем?

Бодлер

Август 1931

Для путешественников портовый город Веракрус – всего лишь чистилище между сушей и морем, но здешние жители в восторге и от себя, и от этого города, ведь они помогали его создавать. Они срослись со здешним укладом, в котором отразились их история и характер, в их жизни постоянно перемежаются полосы бурной деятельности и сонного затишья, они не мыслят себе иного существования и, в уверенности, что их нравы и обычаи выше всякой критики, с удовольствием пренебрегают мнением людей сторонних.

Когда они развлекаются на многочисленных семейных и общественных празднествах, местные газеты в самых трогательных выражениях описывают, как это было весело, сколь роскошными и аристократическими (предполагается, что это одно и то же) были убранство и угощение, и не могут нахвалиться искусством, с каким здешнее высшее общество соблюдает тонкое равновесие между светской учтивостью и непринужденным весельем – секрет столь прекрасных манер известен одному лишь высшему свету Веракруса, конечно же, ему жгуче завидуют и тщетно пытаются подражать жалкие провинциалы – жители удаленной от побережья столицы. «Никто, кроме нас, не умеет развлекаться свободно и притом культурно, – пишут в этих случаях газеты. – Мы щедры, отзывчивы, гостеприимны и чутки», – уверяют они не только самих себя, но и многоязычных варваров с верхнего плоскогорья, упорно продолжающих считать Веракрус всего лишь мерзкими задворками, через которые приходится выбираться в море.

Пожалуй, чувствуется некоторая неловкость в этом воинственном выпячивании собственного аристократизма, а также в неизменной грубости жителей Веракруса по отношению к путешественникам, которые вынуждены пройти через их руки, чтобы обрести временное прибежище на борту какого-нибудь из стоящих в здешней гавани кораблей. Путешественники хотят лишь одного – поскорей отсюда выбраться, а жители Веракруса хотят лишь одного – поскорей от них избавиться, – но не прежде, чем выжмут из них все, что только может извлечь город в целом и каждый его житель в отдельности при помощи пошлин и сборов, грабительских цен и взяток. Словом, на первый взгляд Веракрус – самый обычный портовый город, бессовестный по природе своей, бесстыжий по укладу, преспокойно являющий взорам приезжих непригляднейшую свою изнанку: из десятка путешественников девять – бараны, которые только и ждут, чтобы с них содрали семь шкур, а каждый десятый – негодяй, которого просто грешно было бы не провести. Во всяком случае, из каждого можно выжать не более того, что есть у него в кошельке, а времени на это всегда маловато.

Ранним, но уже знойным августовским утром несколько мирных горожан из тех слоев общества, что щеголяют в белых полотняных костюмах, прошли через раскаленную, как сковорода, площадь под пыльную сень магнолий и неторопливо уселись на веранде гостиницы «Паласио». Вытянули ноги, чтобы охладить подошвы, поздоровались с размякшим от жары щуплым официантом, назвав его по имени, и спросили соку лиметты со льда. Все они были отпрысками семей, знакомых поколений, вместе росли, женились на родных и двоюродных сестрах и тетушках друг друга, знали, кто чем занимается, пересказывали друг другу все слухи и сплетни и выслушивали их, когда эти слухи и сплетни вновь к ним возвращались; каждый, как заправская повитуха, помогал появиться на свет повести об интимной жизни остальных; и однако они чуть не каждое утро встречались по дороге в свои магазины или конторы, вместе

проводили последний час досуга и обменивались новостями, прежде чем приступить к серьезным дневным делам.

Площадь была пустынна, только маленький изможденный индеец сидел на скамье под деревом – индеец откуда-то из захолустья, в потрепанных белых холщовых штанах, длинной рубаше и старой соломенной шляпе с нелепо изогнутыми полями, нахлобученной на самые брови. Ноги его с обломанными ногтями и потрескавшимися пятками бессильно лежали на серой земле, кожаные ремни сандалий порвались и заново связаны были узлами. Он сидел очень прямо, скрестив руки на груди и, казалось, дремал. Потом медленно, как во сне, сдвинул шляпу на затылок, вытащил из скрученного жгутом синего холщового пояса свернутые холодные маисовые лепешки и принялся за еду; то блуждая взглядом по сторонам, то уставясь в одну точку, он решительно впивался крупными зубами в жесткое тесто, жевал и глотал без малейшего удовольствия. Компания на веранде не обращала на него внимания, словно он был деревом или камнем, и он, видимо, тоже никого не замечал.

Из-за угла не то ковыляя, не то ползком на четырех обернутых кусками кожи и обвязанных бечевками обрубках появился нищий, он всегда подгадывал к приходу первых утренних посетителей. В раннем детстве его так хитроумно изувечил мастер этого сложного искусства, готовя к будущей профессии попрошайки, что в нем почти не осталось сходства с человеком. Немой, полуслепой, он двигался, едва не уткнувшись носом в тротуар, будто нюх вел его по следу, и порой, останавливаясь передохнуть, медленно качал безобразной косматой головой от нестерпимой боли. Сидевшие за столиком мельком глянули на него, как на собаку, такую мерзкую, что ее даже ногой пнуть противно, а он терпеливо ждал подле каждого, пока не звякнет медная монетка, брошенная в раскрытую кожаную сумку, что висела у него на шее. Один протянул ему половинку выжатой лиметты, нищий приподнялся, сел, разинул страшный рот, подхватил подачку и, старательно жуя, вновь упал на четвереньки. Потом пополз через улицу и лег под деревьями позади маленького индейца, а тот даже головы не повернул.

Сидевшие на веранде следили за ним лениво, равнодушно, будто ветер гнал по площади обрывок старой газеты; потом они обратили по-прежнему ленивые, но зоркие взгляды знатоков и ценителей на девушек, что стайками шли на работу, все в хлопчатобумажных светлых платишках, с ярко-розовыми или голубыми целлулоидными гребенками в черных волосах, и на девиц побогаче, одетых, как подобает прихожанкам, – эти были в черных вуалевых платьях, поверх высоких черепаховых гребней наброшены тонкие черные кружевные мантильи; они медленно переходили площадь, направляясь в церковь на другой ее стороне, и уже раскрывали большие черные веера.

Но вот последняя молодая прихожанка скрылась в дверях церкви, и сидевшие на веранде от нечего делать засмотрелись на давно знакомые повадки всякой живности, населяющей балконы и подоконники по соседству. Большой серый кот сжался в окне своего дома и настороженно следил за извечным врагом – попугаем; этот самозванец с человеческим голосом опять и опять обманывал его, приглашая зайти подзакусить. Попугай, склонив голову набок, одним ага-тово-черным, отливающим бронзой глазом косился на мартышку, которая каждое утро с восходом солнца принималась осыпать его насмешками на непонятном языке и насмехалась весь день напролет. Мартышка, сидя на перилах соседнего балкона, кидалась к попугаю, насколько позволяла цепь, а попугай, привязанный за ногу, визжал, трепыхался и рвался с привязи. Потом мартышке это надоело, она бочком отступила восвояси, а попугай сел и, потряхивая перьями, начал долго и нудно браниться. Мартышка учуяла заманчивый запах лопнувших кокосовых орехов в корзинке уличного торговца, на тротуаре. Она прыгнула вниз, повисла, обвязанная поперек туловища цепочкой, неистово забилась на весу – и по той же цепочке вскарабкалась вверх, в безопасное место.

В окне, где сидел попугай, показалась обнаженная женская рука и протянула птице переспелый банан. Попугай что-то коротко прохрипел в благодарность, ухватил банан когтистой

лапой и стал есть, сверля угрожающим взглядом мартышку, а та завершала, раздираемая жадностью и страхом. Кот презирал обоих и никого не опасался – ведь он был свободен и мог кинуться в драку или наутек, как заблагорассудится, но до него донесся запах сырого мяса, уже подгнивающие куски его развешаны были в лавчонке под окном. Кот осторожно свесился с подоконника и неслышно упал на кучу требухи у ног мясника. Тут на него, рыча, кинулся какой-то шелудивый пес – лай, шипенье, неистовая гонка до ближайшего дерева – и кот вскарабкался по стволу на безопасную высоту, а пес, ослепленный яростью, наткнулся на вытянутые усталые ноги сидевшего на скамье индейца. Индеец почти и не пошевелился, только согнул ногу в колене – молниеносное движение, меткий удар жестким краем сандалии по торчащим собачьим ребрам. С протяжным воем пес кинулся обратно к лавке мясника.

Один из сидевших на веранде зевнул во весь рот, встряхнул смятую газету, которая лежала рядом, и снова стал разглядывать огромную, во всю газетную полосу, фотографию растерзанного трупа на краю небольшой воронки, вырытой взрывом бомбы во дворе шведского консульства, с пальмами в кадках и проволочными птичьими клетками на заднем плане. Взрывом убило только одного человека – слугу, мальчишку-индейца. Лицо не пострадало, глаза широко раскрыты и задумчиво-печальны, откинутая рука прикрывает ладонью клубок вывалившихся внутренностей. Из-за соседнего столика поднялся человек, тоже посмотрел на фотографию и покачал головой. Он был уже немолод, смуглое лицо лоснилось, белый полотняный костюм и воротничок рубашки размякли от пота.

– Скверная история, – сказал он довольно громко. – Всегда так: ухлопали не того, кого надо.

– Ну, ясно, в газете так прямо и сказано, – согласился тот, что помоложе.

Они стали читать редакционную статью. Редактор утверждал что ни один человек в целой Мексике и, уж во всяком случае, ни одна душа в Веракрусе не могли желать ни малейшего зла шведскому консулу, который всегда был верным другом этого города, благовоспитаннейшим и достойнейшим из всех проживающих здесь иностранцев. Бомба же предназначалась некоему потерявшему совесть богачу, хозяину соседнего дома; по какой-то роковой ошибке, заслуживающей самого сурового осуждения, бомба разорвалась не там, где следовало. Редактор прекрасно понимает, что подобные досадные случайности могут повлечь за собою в высшей степени серьезные международные осложнения. А потому город Веракрус спешит принести глубочайшие, сердечнейшие извинения как самому консулу, так и великому миролюбивому государству, которое он представляет, и, разумеется, готов всячески возместить нанесенный ущерб, как то принято в подобных случаях между цивилизованными правительствами. По счастью, господин консул во время взрыва отсутствовал – вместе с членами своей семьи он приглашен был к другу и коротал часы послеполуденной жары за освежительными напитками. Жители города Веракрус все как один надеются, что шведский консул согласится забыть и простить эту трагическую ошибку, ведь время сейчас суровое, опасность подстерегает каждого из нас на каждом шагу. А пока прискорбный случай этот, быть может, окажется даже полезен, пусть он послужит предостережением для бессердечных домовладельцев, которые бессовестно эксплуатируют своих жильцов – честных граждан Веракруса: пусть знают они, что революция исполнена мощи, рабочие непреклонны в своей решимости положить конец всякой социальной и экономической несправедливости и отомстить полной мерой за все прежние несправедливости.

Тот, что помоложе, перевернул страницу, и оба продолжали читать. Редактор желает объяснить еще одно обстоятельство. Безусловно, никого не следует упрекать за то, что празднество, которым предполагалось отметить взрыв бомбы, состоялось, хотя цель тех, кто посвятил себя делу разрушения, по несчастной случайности не была достигнута. Все приготовления сделаны были заранее, они стоили труда и денег, фейерверк заказан и оплачен за неделю вперед, город охвачен предвкушением победы. Было бы в высшей степени неблагоприятно разоча-

ровать празднично настроенных тружеников города, их прелестных супругов и их детей, растущих в новом, свободном мире. Разумеется, общество должно оплакать безвременную смерть честного юноши, скромного представителя угнетенного пролетариата. Предполагается устроить грандиозные похороны, со всеми почестями предать земле останки этой жертвы, погибшей за великое дело свободы и справедливости; а скорбящей семье предоставлено будет щедрое материальное возмещение. Уже привезены на двух грузовиках цветы, добровольно пожертвованные всеми до единого местными профсоюзами; пять оркестров будут играть похоронные марши и революционные песни на протяжении всего пути от дверей собора до могилы, и, как ожидают, все труженики и труженицы, способные ходить, примут участие в погребальном шествии.

– Уф, тут жарко становится, – сказал тот, что помоложе, и вытер шею платком.

Тот, что постарше, сказал тихо, почти шепотом и едва шевеля губами:

– Ясное дело, эти свиньи на все способны. Вот уж больше года я не получаю от них ни песо квартирной платы и, пожалуй, ничего и не получу. Засели в квартале Соледад, там тридцать пять домов, живут на мой счет, вшивые сволочи, и в ус не дуют.

С минуту они молча смотрели друг другу в глаза.

– Не понимают, видно, что это – палка о двух концах.

Младший кивнул. Они отошли подальше, чтобы их не слышали официанты.

– Мои сапожники за семь месяцев четыре раза бастовали, – сказал младший. – Они чуть не в глаза мне говорят, что хотят взять предприятие в свои руки. Пускай попробуют, в тот же день фабрика сгорит дотла, уж это я вам обещаю. Все солидно застраховано.

– Чего мы только ждем? – не выдержал старший с внезапно прорвавшимся бешенством. – Надо было взять полсотни пулеметов и расстрелять вчера это их шествие. У них пока нет армии – почему мы не вызвали войска? Полсотни пулеметов? Почему не пять тысяч? Почему не полный грузовик ручных гранат? Сдурели мы, что ли? Совсем уже ничего не соображаем?

Младший уставился в одну точку, словно его мысленному взору представилось некое весьма увлекательное зрелище.

– Все только начинается. – Он улыбнулся, явно предвкушая немалое удовольствие. – Пускай дозреет, тогда будет смысл этим заняться. Не беспокойтесь, мы их сотрем в порошок. Победы им не видать. Это же стадо, они даже не понимают, что вся их борьба только и даст им новых хозяев... Ну, я-то пока намерен сам оставаться хозяином.

– Не останетесь, если мы будем сидеть сложа руки; они-то на нас наседадут, – возразил старший.

– Победы им не видать, – повторил младший.

Они ушли.

Понемногу и другие уходили с веранды, оставляя газеты на столиках. Им противно было смотреть, как улицы вновь заполнила толпа приезжих – это двинулись к очередному отбывающему кораблю перелетные птицы, неведомо из каких краев, болтая на своих непонятных наречиях. Даже испанский у них звучал совсем не так, как в Мексике. А уж их женщины... лишь изредка порадуется тихой красотой молодая мексиканка, остальные, из какой бы чудной страны ни были родом, все одинаковы: сущие пугала огородные, размалеванные старухи, либо чересчур жирные, либо чересчур тощие, или уж молодые крикуньи, коротко стриженные, плоскогрудые, – вышагивают в туфлях без каблуков, в непомерно коротких юбчонках и выставляют напоказ такие ноги, что на них не надо бы глядеть никому, кроме разве Господа Бога. Если и попадались редкие исключения из этого правила, их попросту не замечали: все иностранцы отвратительны и нелепы уже по одному тому, что они иностранцы. Жители Веракруса никогда не уставали высмеивать женщин из чужих краев – их одежду, их голоса, их дикие, начисто лишенные женственности повадки, – и особенно доставалось американкам из Северных Шта-

тов. Иногда корабли привозили и увозили какую-нибудь богатую и важную особу; но богатство и важность только и обнаруживались в том, что особы прибывали и уносились в мощных машинах или величественно молчали, стоя на пристани или на набережной, окруженные горами роскошных чемоданов. Да и не все ли равно, каковы они там с виду; их высмеивали по другим, более веским причинам. Они – хоть они, похоже, об этом и не подозревают и чувствуют себя как нельзя лучше, воображают, будто весь мир к их услугам, и всеми командуют, а сами палец о палец не ударят, – они будут уничтожены, и уже сейчас на них можно смотреть как на диковину, как на некую вымирающую породу: так сказали своим приверженцам профсоюзные руководители. И очередная орава, заполнившая улицы Веракруса, на взгляд наблюдателей, оказалась самой обычной – не хуже и не лучше других, а впрочем, всегда попадаетесь какая-нибудь забавная разновидность.

Из дверей гостиницы вышел поглядеть на белый свет портье, официанты в мятых и запачканных белых куртках принялись перед полуденным наплывом посетителей смахивать со скалтерей пыль и крошки. С презрением смотрели они на своих клиентов, которые, пробежав все утро по городу, снова сбредались сюда отдохнуть и перекусить.

Что и говорить, путники выглядели не лучшим образом. Из поезда, который доставил их на побережье, они выгрузились одеревеневшие от напрасных попыток поспать сидя и не раздеваясь, растревоженные – ведь вся привычная оседлая жизнь перевернулась, – пожалуй, даже мрачные от какого-то непонятного чувства, словно они потерпели поражение, от вынужденного прощания с прошлым, от бездомности, хотя бы и временной. Им не удалось толком умыться, все они помятые, запыленные, под глазами от усталости и тревоги темные круги, взгляд отсутствующий, но при каждом бумаге за подписями и печатями – доказательство, что такой-то родился тогда-то и там-то, что у него есть имя, есть в этом мире некая точка опоры, есть пожитки, стоящие того, чтобы ими поинтересовались таможенники на границе, и предстоит ему путешествие, для которого имеются достаточные и достойные основания.

Каждый надеялся, что бумаги эти хоть ненадолго оградят его в затейной поездке от опасностей и случайностей, и каждому казалось, что ужасно важно пуститься в путь сейчас же, всех опередить, первым уладить свои драгоценные дела во всяких бюро, консульствах, всевозможных канцеляриях; и все это начинало походить уже не на путешествие, а на скачки с препятствиями.

Пока что все они были одинаковы и во всех жила одна и та же надежда. Все вместе и каждый в отдельности, они стремились к одному: благополучно попасть в этот день на немецкое судно, которое как раз зашло в Веракрус. Оно совершило долгий рейс и теперь из Южной Америки возвращалось в Бремерхафен. Тревожные слухи настигли путешественников еще прежде, чем они выехали из Мехико. Вдоль всего побережья бушуют ураганы. В самом Веракруске стремительно развивается то ли всеобщая забастовка, то ли революция – время покажет, что именно. В нескольких городах на побережье вспыхнула небольшая эпидемия оспы. Заслышав эту новость, путешественники помчались делать прививки, у всех объявился жар, и каждый обнаружил у себя на локте или выше колена подозрительный прыщик с гнойной коркой. Говорили также, что корабль опоздает, он потерял три дня, застряв на песчаной отмели у Тампико; но, по самым последним сведениям, он уже в гавани и отплывет вовремя.

Похоже, что, пускаясь в это плавание, люди рисковали больше обычного, и если уж, несмотря на все эти не слишком ободряющие вести, они не передумали и очутились в Веракруске, значит, ими движет не прихоть, не желание совершить увеселительную поездку, но необходимость. Все это были люди явно небогатые, кто довольно скромного достатка, кто попросту беден, но каждый, соответственно своему положению, мучился тем, что кошелек его чересчур тощ. Бедность распознавалась мгновенно, по тому, как скупое давались чаевые, как опасливо приоткрывались бумажники и сумочки, как тщательно, осторожными пальцами,

сдвинув брови, пересчитывали сдачу, по тому, как в ужасе вздрогнул человек, когда сунул руку во внутренний карман и на леденящий миг ему почудилось, что деньги исчезли.

Всем верилось, что они направляются туда, где им по той или иной причине будет лучше, чем там, откуда они уезжают, но притом необходимо избежать лишних проволок и расходов. А проволочки и расходы – их общий удел, ибо ими завладела целая армия профессиональных охотников за чаевыми и подачками, сонных канцеляристов в консульствах и скучающих чиновников-паспортистов в Бюро выезда и виз, и всем этим личностям в высшей степени наплевать, попадут отъезжающие вовремя на корабль или тут же, не сходя с места, подохнут. Нагляделись они на таких – изо дня в день, с утра до ночи одно и то же, одеты все как порядочные, а от самих так и разит неблагополучием, денежными заботами и семейными неурядицами. Чиновники эту породу не жаловали, таких бед им и самим хватало.

Почти двадцать четыре часа кряду безымянные, безликие путники, в которых уже мало осталось человеческого, – каждый загнав поглубже свою тайную боль, воспоминания, стремления, сломленную волю, – упрямо бродили пешком (потому что бастовали шоферы такси), потные, отчаявшиеся, голодные (бастовали булочники, бастовали мороженщики), из гостиницы в Бюро выезда и виз, потом в таможду, в консульство, в порт, где стоял на якоре корабль, и снова на вокзал, пытаясь собрать воедино свои развалившиеся на части судьбы и свои пожитки. На вокзале у каждого багаж перехватывал носильщик – и во власти этой мрачной личности каждый сразу оказывался совершенно беспомощным; а потом носильщик улетучивался вместе со всеми вещами. Куда он скрылся? Когда вернется? И тут все спохватывались – кому спешно понадобилась расческа, кому чистая сорочка, блузка, носовой платок; весь день они бегали по городу неряхи неряхами, даже умыться толком не было возможности.

И путешественники маялись; опять и опять встречались они во всех неуютных местах и заведениях, куда всех одинаково загоняла неласковая участь, и всем выпадали одни и те же мучения: нестерпимая жара, неистовая, до белого каления, ярость беспощадного солнца; мерзкая, до неправдоподобия мерзкая еда, которую швыряли на стол перед усталыми, осунувшимися посетителями нахальные официанты. Каждый хотя бы раз отодвинул тарелку с какой-нибудь застывшей жирной размазней, в которой завязли муха и таракан, и покорно уплатил за эту гадость, и еще дал официанту на чай, потому что самый воздух насыщен был и сводящей с ума, и в то же время отупляющей угрозой насилия. Некстати сказанное слово, неловкое движение – и тебя того гляди убьют, а это был бы уж слишком бессмысленный конец. Постепенно все стали питаться лишь черным кофе, теплым пивом, отдающим химией лимонадом в бутылках, размякшими солеными галетами из жестяных банок, да еще пили прямо из скорлупы сок только что вскрытых кокосовых орехов. Внезапно, когда их никто не ждал, вновь появлялись носильщики, дергали своих подопечных, давали дурацкие советы и требовали новых чаевых за то, что исправляли свои же ошибки. Кошельки и душевные силы неуклонно истощались, словно в тягучем дурном сне, а неотложные дела, казалось, все не двигаются с места. Женщины, не выдержав, разражались слезами, мужчины – бранью, но толку от этого не было ни малейшего; у всех покраснели веки и ныли опухшие ноги.

Общие злключения отнюдь не сближали товарищей по несчастью. Напротив, каждый отгораживался от всех прочих, старательно оберегая свою гордость и независимость. В первые тягостные часы они упорно не замечали друг друга, но приходилось встречаться глазами по двадцать раз на дню – и во взглядах поневоле появилось враждебное признание. «Опять ты здесь! А я тебя знать не знаю!» – скажут друг другу взгляды и поспешно метнутся в сторону, и каждый упрямо возвращается к своим заботам. Каждый путешественник становился свидетелем унижений другого, излагал при всех свои дела, опять и опять отвечал на нескромные расспросы, чтобы ответы в сотый раз могла записать какая-нибудь дотошная канцелярская крыса. Порой они останавливались кучками на тех же улицах, читали вслух одни и те же вывески, задавали вопросы тем же прохожим, но ничто их не соединяло. Казалось, в предвидении дол-

гого пути все они твердо решили быть поосторожнее со случайными, волею судьбы навязанными знакомцами.

– Ну вот, – сказал портье тем официантам, что были поближе, – возвращаются наши ослы.

Официанты, помахивая грязными салфетками, враждебно и вызывающе уставились на разношерстное сборище измученных людей, которые молча поднялись на веранду и вяло поникли за столиками, словно уже потерпев кораблекрушение. Вот опять явилась несуразная толстуха, у которой ноги как бревна, с толстопузым муженьком в пропыленном черном костюме и с жирным белым бульдогом.

– Нет, сеньора, – с достоинством сказал ей накануне портье, – у нас тут всего лишь Мексика, но собак мы в комнаты не пускаем.

И эта нескладеха поцеловала пса в мокрый нос и только тогда отдала его слуге, который отвел животное на задний двор и привязал там на ночь. Бульдог Детка перенес это испытание с молчаливой угрюмой стойкостью, присущей всему его героическому племени, и ни на кого не затаил зла. А его хозяева сразу принялись рыться в огромной корзине с провизией, которую они повсюду таскали с собой.

Широким шагом вошла на веранду высокая тощая девица – голенастая, коротко стриженная, с крохотной головой-недомерком, болтающейся на длинной тощей шее, в зеленом платье, вяло болтающемся вокруг тощих икр; она пронзительным павлиньим голосом толковала что-то по-немецки своему спутнику – румяному коротышке с поросычьей физиономией. Рослый и словно развинченный в суставах человек, на удивление большерукий и большеногий, с белобрысым ежиком над хмурым, наморщенным лбом прошагал было мимо веранды, словно не узнав ее, но тут же вернулся, сел в стороне от всех и вновь погрузился в раздумье. Хрупкий рыжий мальчик лет восьми задышался и потел в ярко-оранжевом кожаном костюмчике мексиканского ковбоя, на зеленовато-бледном лице его резко выделялись веснушки цвета меди. Родители-немцы, болезненного вида папаша и унылая, раздражительная мамаша, подталкивали его, а мальчик упирался, извивался всем телом и тянул на одной ноте:

– Мама, пойдем, ну мам, ну пойдем...

– Куда пойдем? – визгливо спросила мать. – Чего ты хочешь? Мы едем в Германию, чего тебе еще надо?

– Пап, ну пойдем! – в отчаянии взмолился мальчик.

Родители переглянулись.

– О господи, у меня голова лопается! – сказала мать.

Отец схватил мальчика за руку и потащил в глубь темного, как пещера, коридора.

– Уж эти туристы, – сказал портье официанту. – Напялили на ребенка кожаный костюм, в августе-то месяце, вырядили как чучело.

Мать услышала, отвернулась, покраснела, закусил губу, потом закрыла лицо руками и на минуту замерла.

– Кстати, насчет чучел – а это видал? – сказал официант и легонько махнул салфеткой в сторону молодой американки в темно-синих штанах и голубой рубашке сурового полотна; широкий кожаный пояс и синий узорчатый платок на шее довершали ее наряд – точную копию рабочей одежды мексиканских индейцев-горожан. Молодая женщина была без шляпы. Черные волосы ее, разделенные прямым пробором, свернуты на затылке узлом – прическа эта показала бы старомодной в Нью-Йорке, но пока еще вполне подходила для Мексики. Спутник этой женщины, молодой американец, был в опрятном белом полотняном костюме и в самой обыкновенной панаме.

Понизив голос, но не слишком, портье отважился на убийственнейшее из всех известных ему оскорблений:

– Видно, яловая.

И отвернулся, со злорадством заметив, что американцы понимают по-испански. Молодая женщина напряглась, как струна, тонкое лицо ее спутника побелело, злыми глазами они уставились друг на друга.

– Говорил я тебе, ходи здесь в юбке, – сказал молодой человек. – Вечно делаешь по-своему.

– Тише, – устало, ровным голосом отозвалась молодая женщина. – Пожалуйста, тише. Я не могу переодеться, пока мы не сели на пароход.

По всей площади и прилегающим проулкам, между низкими стенами, покрытыми перепачканной, исклеванной пулями известкой, сновали четыре красивые испанки, смуглые, с гордо вскинутыми головами и привычной, профессиональной дерзостью во всей повадке; из-под тонких черных платьев, которые чересчур туго обтягивали их стройные бедра, неряшливо выглядывали оборки ярких нижних юбок, развеваясь вокруг изящных ножек. Испанки носились взад и вперед, бегали по лавкам, тесным кружком усаживались на веранде и ели фрукты, разбрасывая кожуру, и непрерывно трещали по-испански, будто ссорилась крикливая птичья стая. При них было четверо смуглых, гибких молодых людей: у всех четверых прилизанные черные волосы над узенькими лобиками, широкие плечи и тонкая талия, перехваченная широким поясом; и тут же двое детишек лет шести, мальчик и девочка, близнецы, с болезненно-желтыми, чересчур взрослыми лицами. Из всех путешественников только эта компания пошла накануне вечером на улицу поглядеть на фейерверк и принять участие в празднестве. Они криками приветствовали взлетающие ракеты, плясали друг с другом среди толпы, потом отошли немного в сторону и, шелкая кастаньетами, снова пустились плясать – хоту, малагуэню, болеро. Вокруг собралась толпа, и под конец одна испанка стала обходить зрителей и собирать деньги, она обеими руками приподняла подол и подставляла его под монеты, громко шурша оборками нижней юбки.

Потребовался бы поистине титанический труд, чтобы навести в делах этой компании какой-то порядок. Они бродили бестолковой, полудикой ордой, кричали на детей, а дети никого не слушались и от всех получали подзатыльники, и все хватали неслухов за руку или за шиворот и волокли за собой. Испанки небрежно тащили какие-то бесформенные, разваливающиеся свертки и узлы, сверкали глазами, неистово раскачивали бедрами, их растрепанные волосы все сильнее раскосмачивались, но они ни на миг не падали духом. Наконец вся компания взбежала на веранду отеля, сгрудилась за одним из столиков – и все стали колотить по нему кулаками и кричать на официанта, наперебой заказывая каждый свое, и дети храбро присоединились к общему шуму и гаму.

Скромная худошавая женщина, еще довольно молодая, одетая очень обыкновенно – в темно-синем полотняном платье и широкополой синей шляпе, которая наполовину скрывала ее черные волосы, миловидное личико и внимательные синие глаза, – не без отвращения посмотрела в сторону испанцев; потом приподняла рукав на правой руке и еще раз оглядела то место, где ее недавно ущипнула нищенка. Повыше локтя вздулась и отвердела опухоль и уже проступали багрово-синие пятна. Женщине хотелось кому-нибудь показать этот болезненный след, сказать легким тоном, словно и не о себе: «Дикость какая-то, просто не верится – неужели так бывает?» Но рядом никого не было, и она опустила смятый рукав. С утра, приняв холодную ванну, напившись горячего, хоть и прмерзкого кофе и чувствуя себя чуть получше оттого, что удалось выспаться, она уже не в первый раз отправилась в Бюро выезда и виз. Нищенка сидела на земле, прислонясь спиной к стене, и ела горячий зеленый перец, прихватив его лепешкой; подтянутые к животу колени ее торчали под бесчисленными драными юбками. Заметив американку, она перестала есть, переложила лепешку с перцем в левую руку, неловко поднялась и, стремительно переступая тощими ногами, направилась к намеченной жертве; на темном, словно дубленом лице ее желтые глаза были точно нацеленные клинки.

– Поддай поскорей Христа ради, – сказала она угрожающе и хлопнула иностранку по локтю; той и сейчас помнилась приятная дрожь справедливого негодования, с каким она, собрав все свои познания в испанском, ответила, что ничего подобного делать не намерена. И тогда нищенка, точно нападающий коршун, мигом ухватила когтистой лапой мякоть ее руки пониже плеча и ущипнула жестоко, с вывертом, впиваясь в кожу длинными, точно железными ногтями, – и тотчас кинулась наутек, только босые пятки замелькали. Да, это было как страшный сон. Такое просто не может случиться в обычной жизни, по крайней мере со мной. Она ссутулилась, отерла лицо платком и посмотрела на часы.

Толстый немец в пропыленном черном костюме и его толстуха жена о чем-то шептались, наклоняясь друг к другу и согласно кивая головами. Потом, захватив свою корзинку с провизией и собаку, перешли площадь и уселись на другом конце скамьи, на которой сидел недвижимый индеец. Они разворачивали промасленную бумагу и неторопливо поедали огромные белые бутерброды, по очереди запивая их из стаканчика-крышки большого термоса. Толстый белый пес сидел у их ног, доверчиво задрав морду, и, громко захлопывая пасть, ловил все новые куски. Они жевали и жевали важно, деловито, с достоинством, а маленький индеец на другом конце скамьи не шелохнулся, неслышное дыхание едва приподнимало его впалый живот. Немка хозяйственно завернула остатки еды и положила на скамью подле индейца. Он мельком глянул на сверток и опять отвернулся.

Немцы с бульдогом и корзинкой вернулись за свой столик на веранде и спросили бутылку пива и два стакана. Нищий калека вылез из-под дерева, приняхался и пополз на запах пищи. Приподнялся, обхватил сверток обернутыми кожей культиками и сбросил наземь. Прислонился к скамье и стал есть прямо с земли, давясь и чавкая. Индеец не шевелился, смотрел в сторону.

Девушка в синих брюках протянула руку и погладила бульдога по голове.

– Славная у вас собака, – сказала она немке.

– О да, он очень хороший, мой бедненький Детка, – отозвалась та мягко, но словно бы нерешительно, не глядя в глаза незнакомке. По-английски она говорила почти без акцента. – Он такой терпеливый, я только иногда боюсь, может быть, он думает, что мы все это устроили ему в наказание.

Она смочила пивом носовой платок и ласково обтерла широкую морду пса и, почти ласково посмотрев не на неприглядную, неприлично одетую молодую американку, а сквозь нее, равнодушно отвернулась.

Тут всех переполошила коротко стриженная молодая женщина в зеленом, она вдруг вскочила на ноги и пронзительно закричала по-немецки:

– Смотрите, смотрите! Да что же это? Что они с ним делают?

Она махала длинными руками в сторону могучего дерева посреди площади.

Из-за церкви вышли человек шесть малорослых тощих индейцев с ружьями под мышкой. Не спеша, легкими мелкими шажками они направились к одинокому индейцу на скамье. Он смотрел, как они приближаются, но и бровью не повел; а у них лица были ничуть не суровые, только непроницаемые и равнодушные. Они остановились перед сидящим, окружили его; и сейчас же, без единого слова или взгляда, он поднялся и пошел с ними, все они неслышно ступали в своих драных сандалиях, белые холщовые штаны болтались вокруг тощих щиколоток.

Путешественники смотрели на все это с полнейшим безразличием, словно решили не утруждать себя вопросами, на которые все равно не получить ответа. Притом что бы ни произошло в этом городишке, даже и с кем-то из них, остальных это не касается.

– Не ломайте себе голову, – сказал немец с поросычьей физиономией женщине в зеленом. – Здесь это обычная история. В конце концов они его расстреляют, только и всего. Может, он стащил пригоршню стручкового перца. А может, у них в деревне немножко поспорили о политике.

При этих словах очнулся от задумчивости долговязый блондин с огромными ручищами и ножищами. До сих пор он сидел согнувшись в три погибели, нога на ногу, а теперь выпрямился и устремил мрачный взгляд на жирного поросенка.

– Да, – раскатисто произнес он по-немецки, но с акцентом. – Очень может быть, что дело в политике. В этой стране ничем больше не занимаются. Сплошная политика, забастовки да бомбы. Им даже понадобилось бросить бомбу в шведское консульство. Уверяют, будто по ошибке, – врут, конечно! Почему именно в шведское, хотел бы я знать?

Человек-поросенок вдруг рассвирепел.

– А почему бы для разнообразия и не в шведское? – громко и грубо спросил он. – Почему бы и иным прочим в кои веки не хлебнуть? Почему одни немцы должны терпеть всякие неприязности в этих паршивых заграницах?

Долговязый пропустил вопрос мимо ушей. Он опять сгорбился, прикрыл очень светлые глаза белесыми ресницами и принялся тянуть через соломинку стоявший перед ним фруктовый напиток. Все немцы, сколько их сидело поблизости, беспокойно зашевелились, сурово нахмурились. Лица их выразили чопорное осуждение: вот уж не к месту и не ко времени! Из-за таких-то личностей обо всех нас идет за границей дурная слава. Толстяк побагровел, надулся, казалось, он оскорблен в своих лучших чувствах. Настало долгое, пропитанное нестерпимой жарой и потом молчание; наконец все зашевелилось, отодвигая стулья, собирая пакеты и свертки, и медленно двинулись к выходу. Отплытие назначено на четыре часа, пора идти.

Четким шагом старого вояки доктор Шуман пересек палубу и остановился у поручней, твердо упершись ступнями в палубу, руки опущены, поза свободная, но не расслабленная, и стал присматриваться к веренице пассажиров, поднимавшихся по трапу. У доктора Шумана был орлиный профиль, строгая, красивой лепки голова, на левой щеке два темных, грубых шрама – следы дуэлей. Один – настоящее «украшение», как говорят немцы: всем на зависть удар рассек лицо от уха до угла губ, так что наверняка сбоку обнажились зубы. За многие годы рана затянулась, но остался узловатый неровный рубец. Благодаря ему доктор Шуман выглядел молодцом, он и вообще выглядел молодцом в свои шестьдесят лет: и шрам и возраст были ему к лицу. Светло-карие глаза его спокойно смотрели в одну точку, к которой приближались и проходили мимо все новые пассажиры, и взгляд этот не был ни оценивающим, ни любопытным, а лишь рассеянно благожелательным, почти ласковым. Казалось, вот человек приветливый, воспитанный, с отменной выдержкой; он сразу выделялся среди светловолосых, очень молодых и мелковатых помощников капитана в белых кителях и среди снующих взад и вперед рослых, крепких матросов с тупыми, лишенными всякого выражения лицами – проворных, старательных, отлично вымуштрованных служак.

Пассажиры выходили из полутемного, затхлого сарая таможни и щурились, ослепленные ярким солнцем, все они похожи были на калек, из последних сил сползающих в больницу. Доктор Шуман заметил горбуна, каких прежде не видывал: сверху казалось, что ноги у этого карлика растут прямо из-под лопаток, грудь торчала острым углом, затылок почти касался огромного спинного горба; он ковылял, весь раскачиваясь на ходу, длинное высохшее лицо застыло в гримасе терпеливого страдания. Вслед за ним высокий юнец с великолепной гривой золотистых волос, мрачно надув губы, рывками и толчками катил в легком кресле на колесах маленького иссохшего полумертвеца; в обвисших усах умирающего поблескивала седина, бесильные руки простерты на коричневом пледе, глаза закрыты. И никаких признаков жизни, только голова тихонько покачивается в такт движению кресла.

Опираясь на руку кормилицы-индианки, медленно прошла молодая мексиканка, смягченная и утомленная недавними родами, в изящном и строгом черном платье – вечном трауре женщин ее касты; на другой руке индианка несла младенца, завернутого в длинное вышитое покрывало, оно струилось складками чуть не до земли. В ушах индианки сверкали камнями серьги, скромно переступали, едва виднеясь из-под ярко расшитой сборчатой негородской

юбки, маленькие босые ноги. Затем поднялась по трапу ничем не примечательная чета – бесцветные родители такой высокой и плотной девицы, что, идя по обе стороны от дочери, они казались худыми и малорослыми; все трое тупо, растерянно озирались. Два священника-мексиканца, с одинаковым угрюмым взглядом и синеватыми бритыми щеками, проворно обогнали эту медлительную процессию.

– Дурная примета, несчастливый будет рейс, – заметил молодой помощник капитана другому, и оба, люди воспитанные, отвели глаза.

– Ну, это еще ничего, не то что монахини, – отозвался второй. – Вот если монахинь везти, тогда пойдешь ко дну!

Четыре хорошенькие, неряшливо одетые испанки с гладко начесанными на уши черными волосами, в черных туфлях на тонкой подошве, слишком узких и со сбитыми высокими каблукками, неторопливо целовали на прощанье подряд одного за другим полдюжины провожатых – молодых жителей Веракруса – и принимали от них корзины цветов и фруктов. Потом к испанкам присоединились четверо их спутников с осиными талиями, и они поднялись по трапу, причем красотки на ходу оценивающими взглядами окидывали выстроившихся в ряд светловолосых помощников капитана. Позади с независимым видом топали чумазные близнецы, неумоимо поедая сласти из неопрятных бумажных кульков. За ними шли несколько человек, которые, на взгляд доктора Шумана, внешне ничем не выделялись, ясно было только, что они из США. Как все американцы, они были худощавей и стройней немцев, но лишены изящества, свойственного испанцам и мексиканцам. И невозможно было по виду определить, к какому слою общества они принадлежат, хотя со всеми остальными доктору это легко удавалось; у этих были одинаково озабоченные, странно напряженные лица, но по их выражению трудно было хоть как-то судить о характерах. Миловидная моложавая женщина в темно-синем платье выглядела весьма достойно, однако из-под короткого рукава виднелся огромный синяк, скорее всего след грубой ласки, и это совсем некстати придавало ее облику некоторую непристойность. У девушки в синих брюках были очень красивые глаза, но держалась она легкомысленно до дерзости, и это разочаровало доктора Шумана, который полагал, что молодую девушку больше всего красит скромность. Подле этой девицы шагал молодой человек с упрямым римским профилем, чем-то похожий на злого норовистого коня, голубые глаза его смотрели холодно и замкнуто. Рослый смуглый молодец с неуклюжей походкой (доктор вспомнил, что он сел на пароход в одном из портов Техаса) во время стоянки гулял по Веракрусу и теперь возвращался на пароход; он лениво брел за испанками, обводя их весьма недвусмысленным плотоядным взглядом.

Пассажиры все еще поднимались по трапу, но доктору Шуману уже наскучило смотреть; офицеры тоже разошлись; портовые грузчики, которые прежде работали с прохладцей, подняли крик и забегали рысцей. На причале еще оставался кое-какой багаж, погрузились еще не все дети и взрослые, а те, кто уже поднялся на борт, бродили в растерянности с таким видом, словно забыли на берегу что-то очень важное и никак не вспомнят, что же именно. Молчаливыми разрозненными кучками они опять спускались на пристань и праздно смотрели, как портовики работают у подъемных кранов. На канатах болтались в воздухе и обрушивались в трюм бесформенные узлы и тюки, обвязанные кое-как тьюфяки и пружинные матрацы, дрянные диваны и кухонные плиты, пианино, на скорую руку обшитые досками, и старые дорожные сундуки, целый грузовик черепицы из Пуэбло и несколько тысяч слитков серебра для Англии, тонна сырого каучука, тюки пеньки, сахар для Европы. «Вера» не принадлежала к числу пароходов, предназначенных для перевозки особо редких и ценных товаров, и уж никак не напоминала нарядные, сверкающие свежей краской и изысканной отделкой суда, что доставляют из Нью-Йорка толпы благополучных разряженных туристов с туго набитыми кошельками. Это была заурядная посудина, которая перевозила и грузы, и пассажиров, – прочная, устойчивая,

как все такие работяги, она круглый год шлепала от одного дальнего порта к другому, добросовестная, надежная и невзрачная, точно какая-нибудь хозяйственная немка.

Пассажиры с любопытством осматривали свой корабль, и в них пробуждалась странная нежность, которую может внушить даже самая уродливая мореходная посудина: ощущение, что все свои дела они доверили теперь ее каютам и трюмам. И они опять направились к трапу: крикливая женщина в зеленом, толстая чета с бульдогом, маленькая пухленькая немка в трауре, с гладкими каштановыми косами вокруг головы и золотой цепочкой на шее, небольшого роста немецкий еврей с озабоченным лицом – он насилу волочил тяжелый чемодан с образцами.

В самую последнюю минуту прихлынула оживленная праздничная процессия: провожали новобрачных в свадебное путешествие, у трапа собралась толпа – на женщинах кружевные шляпы и воздушные платья нежнейших акварельных тонов, на мужчинах белоснежные полотняные костюмы, в петлицах алые гвоздики; свадьбу справляли мексиканцы, в числе подружек новобрачной – несколько девушек из Штатов. Пара была молодая, красивая, хотя сейчас оба казались усталыми и измученными, лица их осунулись от долгого испытания, да оно еще и не кончилось. Мать новобрачного прильнула к сыну и тихо, неудержимо плакала и, покрывая его щеки поцелуями, горестно ворковала:

– Ох, радость моя единственная, сыночек мой любимый, неужели я и вправду тебя потеряла?

Муж поддерживал ее. Опираясь на его руку, она снова обняла сына, а тот поцеловал ее, потрепал по сильно нарумяненным и напудренным щекам и пробормотал почтительно:

– Нет-нет, мамочка, дорогая, мы вернемся через три месяца.

При этих словах мамаша поникла, словно ее дитя нанесло ей смертельный удар, и, рыдая, упала в объятия своего супруга.

Новобрачная, одетая по-дорожному, но нарядно, как подобало случаю, стояла в кругу подруг, мать держала ее за одну руку, отец – за другую, у всех троих лица были спокойные, серьезные и отмеченные удивительным сходством. Они ждали терпеливо и чуть-чуть даже сурово, словно отбывали некий утомительный, но неизбежный ритуал; наконец подружки, вспомнив о своих обязанностях, робко достали по маленькой затейливой корзиночке и начали разбрасывать рис; при этом они натянуто улыбались одними губами и смотрели настороженно, беспокойно, чувствуя, что самые подходящие минуты для веселья, пожалуй, уже миновали. Наконец новобрачные торопливо взошли по трапу, который тотчас начал подниматься, а родные и друзья сгрудились внизу и махали им на прощанье. Молодые обернулись, довольно небрежно махнули разок своим мучителям и, взявшись за руки, почти бегом устремились через всю палубу к противоположному борту. И остановились у поручней, словно достигли наконец надежного убежища. Замерли бок о бок, глядя в открытое море.

Корабль вздрогнул, колыхнулся, заколебался, медленно покачиваясь в такт ровному, крепнущему биению своего машинного сердца; справа и слева, ныряя носами, пыхтя и твякая гудками, тянули два буксира, и вот между бортом корабля и предохранительной обшивкой причала появилась и начала шириться полоса грязной воды. Сейчас же в едином порыве, как будто земля, которую они покидали, была им мила, все пассажиры столпились на палубе, выстроились вдоль борта, с удивлением глядя на отдаляющийся берег, и замахали руками, закричали, посылали воздушные поцелуи сиротливым горсточкам провожающих на пристани, а те кричали и махали в ответ. Все суда в порту приспустили флаги, маленький оркестр на палубе сыграл несколько тактов известной песенки «Adieu, mein kleiner Garde-Offizier, adieu,

adieu...»², потом музыканты равнодушно собрали свои инструменты и скрылись, не удостоив больше Веракрус ни единым взглядом.

Из корабельного буфета выбрался, размахивая огромной пивной кружкой, невообразимо толстый мексиканец в темно-красной рубашке и мешковатых синих парусиновых штанах. Протолкался через податливую толпу к поручням и не запел – взревел: «Adios, Mexico, mi tierra adorada!»³ Он горланил весьма немзыкально, его распухшая физиономия была еще красней рубашки, на жирном потном затылке и на лбу вздулись толстые синие вены, на шее напряглись жилы. Он размахивал кружкой и сурово хмурился; от воротничка отскочила пуговица и упала за борт, и толстяк рывком еще шире распахнул ворот: ему тесно было дышать. «Adios, adios para siempre!» – неумоимо орал он, и, пролетев над маслянистой гладью воды, слабо донеслось эхо в несколько голосов: «Adios, adios». А из самых недр корабля отозвалось гулкое, низкое, протяжное мычанье, словно откликнулся какой-нибудь унылый морж. К толстяку неслышно подошел сзади один из помощников капитана и, придав мальчишескому лицу самое решительное выражение, вполголоса сказал на плохом испанском:

– Пожалуйста, идите вниз, ваше место там. Разве не видите, пароход отчалил. Пассажиры третьего класса на верхние палубы не допускаются.

Громкоголосый толстяк круто обернулся и мгновенье невидящими глазами свирепо смотрел на юнца. Молча запрокинул голову, выпил пиво до дна, размахнулся и швырнул кружку за борт.

– Пойду, когда захочу! – выкрикнул он и злобно нахмурился, однако сразу неуклюже побрел восвояси.

Молодой моряк пошел дальше, словно и не видел крикуна. Перед ним очутилась одна из испанок, поглядела в упор блестящими глазами, сверкнула ослепительной улыбкой. Он ответил смущенным взглядом, слегка покраснел и уступил ей дорогу. На левой руке у него блестело гладкое золотое кольцо – знак помолвки, и он невольно приподнял эту руку, словно обороняясь от испанки.

Пассажиры осматривались в тесных, душных каютах со старомодными койками в два яруса и узким жестким ложем у противоположной стенки для неудачника третьего, читали на дверных табличках фамилии (по большей части немецкие), подозрительно, с внезапно вспыхивающим отвращением оглядывали громоздящиеся рядом с их багажом чужие чемоданы – и каждый вновь обретал то, что на время казалось утраченным, хотя никто и не мог бы определить, что же это такое: собственная личность. Мало-помалу, при виде каких-то пожитков, какой-нибудь вещицы, которой владелец прежде гордился и которая сейчас вдруг попала на глаза в непривычном и, пожалуй, недружелюбном окружении, у человека вновь возникало выдохшееся среди дорожных испытаний, несмелое, но все еще живое сознание: я существую, не всегда же я был затюканным чужаком, ничтожеством, никому не известным именем и неузнаваемой, карикатурной фотографией в паспорте. Успокоенные оттого, что к ним вернулось чувство собственного достоинства, пассажиры смотрелись в зеркало и вновь начинали узнавать себя, умывались, причесывались, приводили себя в порядок и отправлялись на поиски уборной, либо буфета и курительной, либо парикмахерской, а иные, очень немногие, – на поиски ванной. И почти все решили, что корабль вполне соответствует ценам на билеты – в сущности, довольно жалкая, дрянная посуда.

По всей палубе стюарды расставляли шезлонги, пристегивая их к брусу, идущему вдоль стены, вставляли в металлические рамки в изголовьях карточки с фамилиями пассажиров. Высокая немка в зеленом сразу нашла свою карточку и вяло откинулась в шезлонге. Рядом

² «Прощай, прощай, мой маленький гвардеец...» (нем.).

³ «Прощай, моя Мексика, любимый мой край! Прощай, прощай навсегда!» (исп.).

уже развалился хмурый костлявый верзила, который так негодовал из-за взрыва в шведском консульстве. Она покивала ему чересчур маленькой головкой, хихикнула и сказала визгливо:

– Ну, раз уж мы будем сидеть рядом, я вам представлюсь. Меня зовут фрейлейн Лиззи Шпекенкикер, я из Ганновера. Я ездила в Мехико в гости к дяде с тетей и сейчас просто счастлива, что попала наконец на славный немецкий пароход и возвращаюсь в Ганновер!

Ее хмурый сосед не пошевелился и все же словно съезжился в своем просторном светлом костюме.

– Арне Хансен, к вашим услугам, дорогая фрейлейн, – сказал он так, будто каждое слово из него вытаскивали клещами.

– О, датчанин! – восторженно взвизгнула она.

Хансен поморщился.

– Швед, – поправил он.

– А какая разница? – взвизгнула Лиззи.

Неведомо почему глаза ее увлажнились и смех прозвучал так, словно у нее заболели зубы. Хансен, который перед тем сидел, закинув ногу на ногу, уперся подошвами в палубу, а ладонями в подлокотники, точно хотел встать, но тут же снова в отчаянии откинулся на спинку шезлонга и уж так нахмурился, что глаза окончательно скрылись под насупленными бровями.

– Этот пароход совсем не славный, – проворчал он угрюмо, точно про себя.

– Ну что вы такое говорите! – воскликнула Лиззи. – Да он просто прелесть!.. О, смотрите, вот и герр Рибер возвращается!

Она подалась вперед и усиленно замахала руками человечку с поросычьей физиономией. Он ответил на приветствие учтивейшим поклоном, свинные глазки проказливо блеснули. Завидев Лиззи, он сразу ускорил шаг, штаны в обтяжку чуть не лопались на его тугом круглом задке и тугом выпяченном брюшке. Торжествующая походка победителя, и весь он – ни дать ни взять надутый коротконогий петух. Лучи предвечернего солнца играли в короткой рыжеватой щетине на его бритой голове, покрытой какими-то рубцами и складками. Через руку у него был перекинут давным-давно не чищенный плащ, из кармана плаща торчала сложенная газета.

Рибер явно предпочитал притвориться, будто никакой стычки на веранде в Веракрусе вовсе и не было и Хансена он видит первый раз в жизни; он остановился, прищурился на табличку в головах у Хансена и сперва по-французски, потом по-русски, по-испански и, наконец, по-немецки произнес одно и то же:

– Прошу извинить, но это мой шезлонг.

Хансен поднял одну бровь и сморщил нос, будто от герра Рибера, очень мягко говоря, дурно пахло. Распрямился, встал, сказал по-английски:

– Я – швед.

И пошел прочь.

Рибер сильно покраснел, лицо его подергивалось.

– Ах, швед? – храбро крикнул он вдогонку. – И на этом основании вы рассиживаетесь в чужом кресле? Ну, в таких делах я и сам могу быть шведом.

Лиззи склонила голову к плечу и, глядя на Рибера, сказала нараспев:

– Он совсем не хотел вас обидеть. В конце концов, вас же не было.

– Но мой шезлонг стоит рядом с вашим, а потому я желаю, чтобы он всегда был свободен для меня, – любезно возразил Рибер, кряхтя уселся, вытащил из кармана плаща старый номер «Франкфуртер цайтунг» и, выпятив нижнюю губу, зашуршал газетными листами.

– Нехорошо начинать долгое плавание ссорой, – сказала Лиззи.

Рибер отложил газету, отбросил плащ. Проказливо и ласково оглядел соседку.

– Я ссорился с этим долговязым уродом совсем не из-за шезлонга, и вы это прекрасно знаете, – сказал он.

Лиззи мигом перещеголяла его в проказливости.

– Ох уж эти мужчины! – весело взвизгнула она. – Все вы одинаковы!

Она наклонилась и три раза шлепнула его по голове сложенным бумажным веером. Герр Рибер только и ждал случая немножко порезвиться. Его всегда восхищали высокие худощавые длинноногие девицы, которые вышагивают точно цапли, только юбки развеваются да мелькают длинные узкие ступни, именно за такими он всегда волочился. Он легонько постучал Лиззи пальцем по руке, это было приглашение к игре – и Лиззи, подхватив намек, скаля зубы от удовольствия, стала шлепать его все сильнее и проворней, пока безволосая макушка его не побагровела.

– У, какая нехорошая, – сказал он наконец и увернулся, но продолжал широко улыбаться ей, наказание ничуть не усмирило его, напротив, поощрило.

Лиззи поднялась и гордо двинулась по палубе. Рибер мячом выкатился из шезлонга и поскакал за ней.

– Давайте-ка пить кофе с пирожными! – влюбленно предложил он. – Буфет сейчас открыт.

И облизнулся.

Две не в меру разряженные молодые кубинки, чье ремесло не вызывало сомнений, еще за час до отплытия пристроились в баре играть в карты. Они сидели, скрестив ноги в прозрачных, подвернутых сверху чулках, выставя напоказ напудренные коленки. С пухлых кроваво-красных губ свисали перепачканные помадой сигареты, табачный дымок поднимался к прищуренным глазам под густо накрашенными ресницами. Старшая была победительно красива, младшая – поменьше, хрупкая и, видимо, болезненная. Она не сводила глаз с партнерши и, кажется, просто не смела выигрывать. Вошел рослый неуклюжий техасец по имени Уильям Дэнни, уселся в угол, зорко, понимающе присматриваясь к картежникам. Они его словно не замечали; порой, отложив карты, они потягивали ликер и обводили надменным взглядом бар, где теперь было оживленно и полно народу, но ни разу не посмотрели на Дэнни, и он почувствовал себя оскорбленным. По-прежнему глядя на кубинок, он резко постучал по стойке, словно хотел привлечь внимание буфетчика, и на лице его проступила недобрая усмешка. Кабацкие королевы. Знает он эту породу. Недаром он из Техаса, почти всю жизнь прожил в Браунсвилле. Такие ему без надобности. Он опять громко постучал по стойке.

– Пиво у вас еще не выпито, сэр, – сказал буфетчик. – Угодно чего-нибудь еще?

Тогда эти дамы посмотрели на него, да с таким презрением, будто тут расшумелся пьяный хулиган. И взгляд его стал растерянным, усмешка слиняла; он уткнулся в свою кружку, допил пиво, закурил, наклонился и стал разглядывать собственные башмаки, пошарил в кармане в поисках носового платка, которого там не оказалось, и наконец сдался и почти выбежал из бара, словно его призывали какие-то неотложные дела. А меж тем идти вроде некуда и делать нечего, разве что вернуться в каюту и распаковать кое-какие вещички. Что ж, ладно, начнем устраиваться на новом месте.

Он уже порядком устал от усилий сохранить свое «я» в чужих краях, где говорят на чужих языках. Каждая встреча казалась ему вызовом: всякий раз требовалось доказать, что он не какое-нибудь ничтожество, добиться уважения – а как добиться? Эта задача вставала перед ним не впервые, но особенно растерялся он в Веракрусе. Родом он был из маленького пограничного городка, где его отец, богатый землевладелец, личность, окруженная почетом и уважением, многие годы подряд занимал пост мэра, а где-то внизу пребывали мексиканцы и негры, то бишь мексикашки да черномазые, ну и горсточка полячишек да итальяшек, эти не в счет; и Дэнни привык полагаться на естественное свое превосходство – превосходство белого и притом богача, подкрепленное законами и обычаями. В Веракрусе, среди задиристых желчных жителей побережья, в чьих жилах смешалась негритянская, индейская, испанская кровь и

чей язык он не потрудился выучить, хоть и слышал его с колыбели, он поначалу держался, как подобает белому человеку, – и получил самый дерзкий отпор. Уж он ли не отличается широтой взглядов – в конце концов, это их родная страна, грязная, какая ни на есть, ну и пускай живут; пока он тут, он готов их терпеть. А ему мигом дали почувствовать просчет: говоришь с ними вежливо, а им кажется – свысока; законно чего-нибудь потребуешь, а они ошкетинятся; будто ты их унижаешь, точно рабов каких-нибудь; а если смотришь на все сквозь пальцы, они тебя же презируют и всячески обжуливают. Так вот, черт подери, они и вправду низшая раса, это же сразу видно! И должны всегда знать свое место, церемониться с ними нечего. В Бюро выезда и виз он обратился к какому-то мелкому чиновнику и назвал его «Панчо», как дома называл бы шофера такси «Мак» или носильщика на вокзале «Джордж» – вполне доброжелательно. А этот черномазый (кто-то объяснил Дэнни, что в каждом мексиканце на побережье есть примесь негритянской крови) надулся, будто его щелкнули по носу, стал прямо лиловый, глаза налились кровью. Уставился на Дэнни, коротко бормотнул не поймешь что на своем языке, а потом на чистом английском – будьте, мол, так любезны, посидите и обождите, пока оформят ваши документы. Дэнни как дурак сел и ждет, пот с него в три ручья, мухи липнут к лицу, а чиновничка подписывает бумаги тем, кто после пришел, длиннейшая была очередь. Не сразу Дэнни понял, что это все ему в отместку. Тогда он встал, протолкался к чиновнику и сказал медленно, отдельно: «Дайте сейчас же мои бумаги» – и чиновник мигом достал его документы, поставил печать, протянул бумаги и даже не взглянул на Дэнни. Вот как надо было держаться с самого начала, вперед он будет умнее.

Открывая дверь своей каюты, он увидел на ней не два, а три имени. Герр Дэвид Скотт, значилось на табличке, герр Вильгельм Дэнни и – полнейшая неожиданность – герр Карл Глокен. Он стал на пороге: в каюте не повернуться. Молодой человек среднего роста с вечно хмурым лицом (Дэнни видел его в Веракрусе, он там разгуливал с непотребной девкой в синих штанах) мыл раковину умывальника чем-то едко-пахучим, наверно карболкой. На нижней койке – койке Дэнни – лежали два незнакомых чемодана и потертый кожаный саквояж. Ну нет, на билете указано, что его место нижнее, значит, будет нижнее, он своего не уступит. Хмурый вскинул глаза.

– Здравствуйте. Мы соседи.

– Рад слышать. – Дэнни шагнул в каюту.

Молодой человек продолжал протирать умывальник. На низенькой скамеечке сидел Глокен и рылся в разбухшей дорожной сумке. Никогда еще, если не считать нищего калеки на площади Веракруса, Дэнни не видал до такой степени изуродованного существа. Низко наклонясь, Глокен почти касался пола – и похоже было, если он вытянет руки, они окажутся длиннее растопыренных ног. Потом он поднялся – росту в нем было около четырех футов, печальное и словно виноватое длинное лицо запрокинуто, горб торчит чуть ли не выше головы – и отошел назад, к концу нижней койки, свободному от чемоданов.

– Одну минутку, сейчас я выйду, – сказал он с болезненной улыбкой, опустил на краешек матраца между чемоданами и, кажется, потерял сознание.

Дэвид Скотт и Уильям Дэнни нехотя понимающе переглянулись: ну и спутник им достался, и, видно, ничего с этим не поделаешь.

– Пожалуй, надо позвать стюарда, – сказал Дэвид Скотт.

Глокен открыл глаза, покачал головой, слабо махнул длинной рукой.

– Нет-нет, – сказал он еле слышно глухим, тусклым голосом. – Не беспокойтесь. Это ничего. Просто немножко передохну.

– Ну, пока. – Дэнни попятился. – Я устроюсь попозже.

– Давайте-ка я их уберу, – сказал Дэвид и взялся за чемоданы Глокена.

Под нижней койкой для них места не осталось. Там уже лежали вещи Дэнни. В стенной шкафчик они тоже не влезали. Дэвид пока что сунул их на диван у второй стены.

- Это не мое место, – сказал Глокен, – моя койка верхняя, но как же я туда заберусь?
- Устраивайтесь на диване, – сказал Дэнни, – а я буду наверху.
- Не знаю, как я там лягу, очень узко, – сказал Глокен.

Дэвид смерил взглядом чудовищно искривленное тело и ширину дивана, с тягостным чувством понял, о чем говорит горбун, и отвел глаза.

- Лучше уж оставайтесь тут... как по-вашему? – прибавил он, обращаясь к Дэнни.

Наступило молчание, Дэвид взглядом искал стакан – куда бы положить зубную щетку.

Хотя в билете ясно было сказано – место номер один, Дэнни, к удивлению Дэвида, благородно уступил нижнюю койку Глокену, и Глокен горячо его поблагодарил.

Уснул Глокен мгновенно. Он лежал на боку лицом к свету, подобрав колени чуть не к подбородку, сдвинувшись на самый край койки, иначе не хватило бы места для горба. Сухие тонкие волосы его спутались, как выгоревшие на солнце шелковистые кукурузные метелки, крупные неправильные черты застыли скорбной маской. Носы башмаков задрались кверху, на подошвах виднелись заплатки.

Дэвид посмотрел на полку над умывальником – почти всю ее завалил всякой всячиной Дэнни. Попав на корабль, он поспешил умыться и причесаться и все оставил в совершенном беспорядке, точно у себя дома. Скотина, брезгливо подумал Дэвид, он и без того был зол и раздосадован. Когда он в Мехико брал билет, кассир заверил его, что каюта будет только на двоих. «Курит трубку и занимается самосовершенствованием». Он взял с дивана щедро иллюстрированную книгу в коленкоровом переплете под названием «Сексуальные развлечения как залог душевного здоровья» с подзаголовком: «Руководство для истинно счастливой жизни».

- Боже милостивый, – сказал Дэвид.

Запах дезинфекции не в силах был заглушить всякую другую вонь: пахло нечистым бельем, заношенными башмаками Глокена, и самый воздух в каюте был затхлый, застоявшийся. «Вера» вышла из гавани, и ее начало слегка покачивать на океанской волне, Дэвид увидел себя в зеркале: лицо бледное до зелени. Его замутило, пол под ногами перекосялся, к горлу вдруг подступила тошнота. Он бросился к двери, споткнулся о сумку Глокена, едва не упал и кинулся на верхнюю палубу. Еще одно хамство: ему обещали каюту наверху, а оказалось, она выходит на нижнюю палубу и в ней не окно, а только иллюминатор.

Лицо овеял ленивый ветерок, такой чистый, сладостный, так напоенный влагой, будто кожу омыло теплым паром. Низкое вечернее солнце бросило на воду косые лучи, длинные полосы света густо синели в глубине, ярко зеленели, перемежаясь белыми гребешками, на поверхности. Навстречу Дэвиду шла Дженни Браун – он еще не видел ее с тех пор, как они разошлись по своим каютам. Она переоделась – вместо синих брюк белое полотняное платье, белые кожаные сандалии на босу ногу; шла она с каким-то незнакомцем, Дэвид его видел впервые, а держалась как со старым приятелем. У Дэвида сжалось сердце: незнакомец был до отвращения хорош собой, точно на рекламе виски или спортивных курток – типично немецкая самодовольная и самоуверенная физиономия. Где и как Дженни успела его подцепить? Дэвид будто и не заметил их, стал у борта, а когда они подошли ближе, словно бы случайно обернулся (хоть бы поверили, что случайно...).

– А, Дэвид... это ты? – рассеянно сказала Дженни, будто не сразу его узнала. – Все в порядке?

И не остановилась, прошла с этим красавцем дальше.

Большие светло-карие глаза ее светились так знакомым Дэвиду нерассуждающим радостным волнением; наверно, она уже говорит о глубоко личном, выкладывает все, что думает... Даже когда Дженни казалась искренней и вполне разумной, Дэвид не доверял женскому уму, по самой природе своей путаному и коварному: уж конечно, она сейчас задает вопросы, которые заставляют человека откровенничать, выманивает у него маленькие тайны и признания, а потом, если понадобится, против него же все и обернет. Дэвид уже чувствовал, как она выстра-

ивает обвинительный акт, чтобы потом бить этого дурака, если дело дойдет до ссоры. Он смотрел ей вслед: небольшая изящная фигурка вся – гармония, словно античная статуэтка; точеная головка, тяжелый узел черных волос; немного скованная скромная походка так хитро скрывает или представляет в ложном свете все, что (казалось Дэвиду) он знает о Дженни. По этой походке ее можно принять за строгую школьную учительницу, которая всегда помнит, что сутулиться и покачивать на ходу бедрами ей не подобает.

Дэвид посмотрел на часы, решил, что уже пора первый раз за день выпить (в последнее время он только и жил ожиданием этой минуты), и направился в бар; внезапно он почувствовал себя раздавленным, пойманным в ловушку: со всех сторон море, он и всегда его ненавидел, а теперь ощущал перед ним безмерный тайный ужас. И негде укрыться, нигде нет спасенья.

Эта поездка в Европу – безумие, и все это затеяла Дженни; он вовсе не собирался выезжать из Мексики, но, по обыкновению, дал себя провести. Впрочем, не до конца она его провела, размышлял он (начал действовать первый глоток виски). Она-то хотела сначала поехать во Францию и не сомневалась, что он согласится; а он сразу решил – если уж ехать, так в Испанию. Они раза три отчаянно поругались – и сошлись на Германии, куда ни ей, ни ему вовсе не хотелось. Просто тянули жребий – соломинки разной длины, Дэвид зажал концы в кулаке, и Дженни вытащила самую короткую, а это означало Германию. Обоих взяла такая досада, что они опять разругались, потом выпили – и малость перебрали, а потом полночи неистово предавались любви, словно пытались отомстить тому непонятному, что их разделяло; и все равно ничего не уладилось. Оба из упрямства не отступали от навязанного случаем решения – и вот, плывут... хотя у Дженни свои планы. Однажды она превесело объявила, что, если они вдруг передумают, еще можно будет получить визу для поездки во Францию у французского консула в Виго. В Северогерманском отделении пароходного агентства Ллойда ее клятвенно заверили, что это очень легко.

– А почему бы просто не получить разрешение сойти в Виго и не остаться в Испании? – спросил Дэвид.

– Я в Испанию не собираюсь, ты что, забыл? – возразила Дженни.

Что ж, если она собирается переиграть, пусть ее. Пускай едет во Францию, если ей так хочется. А он поедет в Испанию. Она еще увидит, не станет он вечно плясать под ее дудку.

– Bitte⁴, – застенчиво сказала миссис Тредуэл, подумав, что неплохо бы заодно припомнить немецкий.

Она обращалась к маленькой полной женщине с шелковистыми косами вокруг головы и золотой цепочкой на шее; женщина в одиночестве пила чай за отдельным столиком, и напротив нее оставался единственный свободный стул. Бар был переполнен, точно в праздник, однако стояла странная тишина. Даже люди, явно, так или иначе, связанные друг с другом, хранили отчужденное молчание.

Круглое и свежее лицо с расплывчатыми чертами чуть тронула приветливая, но рассеянная улыбка. Мягко приподнялась ладонью кверху пухлая уверенная рука.

– Нет-нет, не утруждайте себя, – сказала женщина. – Я уже много лет говорю по-английски. Я даже преподавала английский – да вы садитесь, пожалуйста, – в немецкой школе в Гвадалахаре. Мой муж тоже там преподавал. Только математику.

– Чаю, пожалуйста, – сказала миссис Тредуэл стюарду.

Она сменила темно-синее платье на светло-серое полотняное, у этого рукава были еще короче, и резко темнел огромный безобразный синяк.

– Меня зовут фрау Шмитт, – сказала кругленькая, помешивая чай, и подбавила в него сахару. – В юности я уехала из Нюрнберга и теперь наконец возвращаюсь на родину. Это было

⁴ Пожалуйста; прошу вас (нем.).

бы для меня огромным счастьем, муж мой так давно об этом мечтал, а теперь это не приносит мне ничего, кроме горя и разочарования. Я знаю, так думать грех, и все-таки иногда я спрашиваю себя – а что такое, в конце концов, жизнь, если не горе и разочарование?

Она говорила негромко и словно не жаловалась, а просто хотела, чтобы даже первый встречный сразу узнал о ее горе, как будто только одно это и следовало о ней знать. Но светло-голубые глаза ее откровенно молили о жалости.

Миссис Тредуэл внутренне содрогнулась, больно кольнуло дурное предчувствие. «Даже здесь, – подумала она. – Неизбежно. Все плавание мне надо будет выслушивать рассказы о чьих-то горестях, и, уж конечно, прежде чем мы доплывем, придется мне сидеть с кем-нибудь и проливать слезы. Что и говорить, прекрасное начало».

– А вы куда направляетесь? – спросила фрау Шмитт, помолчав достаточно, чтобы ей успели задать вопрос, после которого она могла бы поведать о своем горе, но так его и не дождавшись.

– В Париж, – сказала миссис Тредуэл. – Я возвращаюсь в Париж.

– Так в Мексике вы только гостили?

– Да.

– У вас там друзья?

– Нет.

Водянисто-голубые глаза фрау Шмитт обратились на руку миссис Тредуэл.

– Вы сильно ушиблись, – не без интереса заметила она.

– Это поразительная история, – сказала миссис Тредуэл. – Меня ущипнула нищенка.

– Почему?

– Потому что я не подала ей милостыню, – сказала миссис Тредуэл и впервые подумала: когда говоришь вот так, напрямик, получается на редкость бессердечно и глупо. В Мексике ни один порядочный человек не отказывает нищему, и она, как все ее знакомые, привыкла всегда иметь при себе мелочь для подаяния. Та женщина была не нищенка, а нахальная цыганка – чем бы попросить, хлопнула по руке. И все же вышло унижительно; как можно было допустить, чтобы такое ничтожество лишило ее всякого соображения? Этого и себе самой не объяснишь. – Разумеется, мне никто не поверит, договорила она и взяла к чаю сухое печенье.

– Ну почему же? – по-детски удивилась фрау Шмитт.

– Да, конечно, чего на свете не бывает, – сказала миссис Тредуэл. – Но всегда кажется, что со мной-то ничего такого просто не может случиться.

И зачем она это сказала? Теперь посыплются новые «почему» да «отчего». Миссис Тредуэл беспокойно оглянулась – в другом конце бара уже сидела американка Дженни Браун с единственным приличного вида мужчиной на корабле. Миссис Тредуэл снова обернулась к маленькой скучной женщине напротив – что ж, надо примириться с ее обществом и со всей этой поездкой, еще одно долгое испытание, скука, от которой не избавишься, не одолеешь ее и не отмахнешься, остается просто-напросто от нее бежать; мгновенья передышки от скуки даст само бегство – мимолетная иллюзия, будто становишься невидимкой.

– С каждым из нас в любую минуту все может случиться, – со спокойной уверенностью сказала фрау Шмитт. – Мой муж... давно ли мы с ним мечтали вместе вернуться в Нюрнберг? И вот я еду одна, хотя его гроб здесь, в трюме. Ох, просто сил нет об этом думать! Сегодня в семь утра исполнилось шесть недель и два дня, как муж мой умер...

Ну, конечно, смерть, подумала миссис Тредуэл, для таких вот чувствительных особ нет горя, кроме смерти. Ничто другое не проникнет сквозь слой жира и не заставит страдать. Но надо же что-то ответить.

– Да, это ужасно, – сказала она и со страхом поймала себя на подлинном сочувствии: наперекор всем недобрым мыслям ее тронуло горе этой женщины, и смерть – третья с ними за столом, смерть – вот что их соединяет.

Безвольный рот фрау Шмитт дрогнул, углы губ опустились. Она молча помешивала ложечкой чай. Веки ее покраснели. Жадно поглотив розовое пирожное сочувствия, она разом очутилась наедине со всей роскошью только ей принадлежащей скорби. Миссис Тредуэл, не допив чай, незаметно совершила свой первый за это плавание побег.

По дороге в каюту она сказала несколько слов тем же тоном и улыбнулась той же улыбкой нескольким людям: судовому врачу (причем заметила на лице его великолепный шрам – след давней дуэли); молодому моряку с волосами цвета меда – имени и звания моряка она не знала и не потрудится узнать, хотя, прежде чем окончится плавание, она будет принимать от этого молодого человека весьма пылкие поцелуи; чопорной, не улыбочливой стюардессе и запуганному мальчишке-коридорному, который в ответ только молча, обиженно уставился на нее. Имя, которое значилось на двери каюты под ее именем, изумило ее – звучит престранно и ничего хорошего не сулит: фрейлейн Лиззи Шпекенкикер. Сплетенкрикер? И она, без особой, впрочем, опаски, подумала – которая же это из многочисленных пассажиров, чья внешность ничего хорошего не сулит?

Она принялась раскладывать свои вещи на узкой полке стенного шкафчика – прикрывала разноцветной папиросной бумагой паутинно-тонкое белье, встряхивала плиссированный шелк, внизу расставила в ряд золотые, серебряные, шелковые туфли; услышала за спиной шаги, опять улыбнулась, словно бы своим нарядам, и, не оборачиваясь, поздоровалась:

– Gruss Gott⁵.

Это оказалась долговязая особа с пронзительным голосом, подруга мерзкого маленького толстяка. На мгновение миссис Тредуэл бросило в дрожь, по спине пробежал холодок. Втихомолку она улыбнулась еще приветливей и вся ушла в свое занятие.

По каюте пронесся вихрь, в духоту влился мускусный запах одеколона, и фрейлейн Шпекенкикер исчезла, оставив дверь настежь. Миссис Тредуэл затворила дверь и отгородилась от шума: громкие голоса раздавались в каюте наискосок, там на табличке стояла фамилия Баумгартнер.

Мамаша Баумгартнер сурово отчитывала мальчонку, он слабо, жалобно оправдывался. Ох уж это семейное счастье, уж эти благополучные немецкие семейства, весело подумала миссис Тредуэл. От картины, что представилась ее мысленному взору, сразу стало нечем дышать – миссис Тредуэл высунулась в иллюминатор и вздохнула полной грудью.

– Мама, – начал Ганс, когда снова набрался храбрости: он сидел на краешке дивана, стараясь не подвертываться матери под руку, – мама, можно я разденусь?

Фрау Баумгартнер стиснула кулаки и затрясла ими над головой.

– Сколько раз тебе повторять! – вновь вспыхнула она. Нельзя раздеваться, пока я не достала тебе что-нибудь другое надеть. А мне сейчас некогда, и не приставай ко мне.

Мальчик ерзал на месте, все тело его зудело от жары и едкого пота, закованное в броню простеганной, пестро расшитой кожи: мексиканский костюм для верховой езды рассчитан на холода в горах.

– Можешь потерпеть, пока я распакую твой чемодан, – упрямо продолжала мать, роясь в багаже в поисках мужниных рубашек. – У меня тысяча дел, не могу я делать все сразу! – Она вконец разъярилась: – Сиди тихо, а то получишь у меня! – И она угрожающе замахнулась.

Мальчик зарыдал в три ручья; складки его кожаных штанишек потемнели от пота.

– Я умираю, – сказал он слабым голосом, веснушки на его побледневшем лице темнели, точно брызги йода.

– Умираю! – презрительно фыркнула мать. – Такой большой мальчик и такую чушь несет. Подожди, придет отец, а ты в таком виде. – По порядку, даже в спешке и досаде, она переби-

⁵ Букв.: да благословит вас Бог (нем.).

рала аккуратно сложенную одежду и лишь изредка приостанавливалась, чтобы отвести со лба влажную прядь. Она тоже побледнела, спина взмокла, под мышками и по ногам струился пот, плечи влажно просвечивали сквозь тонкую ткань темного платья. – Может, по-твоему, я не устала? По-твоему, ты один мучаешься? Чем ныть и жаловаться и прибавлять мне мороки, вставай, перестань хныкать и помоги мне с чемоданами.

– Можно я хоть куртку сниму? – безнадежно взмолился мальчик, утирая нос тыльной стороной кисти; ему никак не удавалось сдержать слезы.

– Ну ладно, сними, – сказала мать. – Я вижу, ты сущий младенец, вот я стану кормить тебя из бутылочки, дам молока с сахаром из бутылочки с резиновой соской, и ничего больше ты на ужин не получишь.

Собственная жестокость уже доставляла ей удовольствие, приятно было уязвить гордость сына, хоть он и одержал победу в споре из-за куртки. А у него никакой гордости не было – он мигом скинул куртку, его обдуло ветерком из иллюминатора, и сразу все тело покрылось гусиной кожей, это было чудесно. Лицо мальчика прояснилось, он блаженно вздохнул и с благодарностью посмотрел на мать.

– Вот погоди, я скажу отцу, как ты мне надоедаешь, – пригрозила она, но уже смягчаясь. – Только начни опять хныкать, сам знаешь, что тебе будет.

Он робко ждал в углу, в изголовье дивана, – он жаждал доброты и надеялся, что его милая красивая мамочка скоро вернется. Она исчезла, ее подменила чужая женщина, нахмуренная, злая – ругается, кричит ни с того ни с сего, бьет его по рукам, грозит; похоже, она его ненавидит. Он низко опустил голову, свесил руки и смотрел из-под реденьких белесых бровей – не боялся, просто ждал. Женщина поднялась, отряхнула юбку, посмотрела на него прояснившимися глазами – и ее захлестнули жалость и раскаяние.

– Ну вот, Ганс, мой маленький, – сказала она нежно, приложила палец к своим губам и потом ко лбу сына вместо поцелуя. – Умойся-ка хорошенько – и лицо, и руки, рукава засучи, шею вымой! – а потом наденешь короткие штанишки и джемпер, и пойдем пить холодный малиновый сок. Только поторопись. Я подожду на палубе.

Она улыбнулась ему так ласково, будто никогда не злилась. В совершенном смятении Ганс чуть снова не заплакал, но плеснул холодной воды в лицо, и слез не стало.

Фрау Риттерсдорф, пассажирка первого класса, воспользовалась отсутствием соседки по каюте, чтобы расположиться поудобней и занять лучшее место. В билете указана была верхняя койка, но фрау Риттерсдорф уже успела присмотреться к фрау Шмитт и сразу поняла, что без труда станет хозяйкой положения. Она потребовала, чтобы ей принесли вазы, и заботливо поставила в них два огромных букета – она сама купила их в Веракруссе и послала на свое имя, в одном были нежно-розовые розы, в другом гардении; букеты обернуты были влажной ватой, к каждому серебристой лентой привязана карточка: «Моей милой Наннерль от ее Иоганна», «Многоуважаемой фрау Риттерсдорф с наилучшими пожеланиями – Карл фон Эттлер».

Это выглядело недурно и не таким уж было обманом – вышеназванные приятели с радостью послали бы ей цветы и по случаю отъезда, и по многим другим поводам, если бы не то печальное обстоятельство, что оба уже умерли, но, опять же, отбыли они в лучший мир так недавно, что она еще не вполне освоилась с утратой и, глядя на цветы, почти верила, что оба еще живы. В былые времена они посылали ей не только цветы, будь им земля пухом. Хотя фрау Риттерсдорф была лютеранкой, она несколько раз кряду перекрестилась. Она полагала, что этот жест ей к лицу, да притом хранит от бед.

Она достала два хрустальных с серебром флакона духов – «Сады Аравии» и «Память любви» – и стеганный шелковый мешочек, где лежали серебряные щетки, зеркало, расческа, пилка для ногтей и рожок для обуви, и пристроила все это на самом удобном месте, на правой стороне умывальника. Старательно причесалась, неторопливо оделась. На корабль она явилась

пораньше, не желая сталкиваться с прочими пассажирами – похоже, все это птицы невысокого полета. Взяла ручное зеркало, одобрительно поглядела на себя в профиль. Бывало, ее не раз называли красавицей – и по заслугам. Говорите что хотите, а она и сейчас очень хороша. Фрау Риттерсдорф села, открыла солидную записную книжку в красном с позолотой тисненым переплете флорентийской кожи и принялась писать:

«Итак, признаюсь, это приключение (ведь и вся наша жизнь – приключение, не правда ли?) кончилось не так, как я надеялась, но и ничего плохого из него не вышло. Я даже усматриваю в этом высшую направляющую Волю моей расы. Немецкой женщине не пристало выходить замуж за человека с темной кожей, даже если в его жилах течет кровь знатного испанского рода и он принадлежит к правящей касте и достаточно богат... Были ведь в Испании роковые времена, когда почти наверняка тайно проникла сюда примесь еврейской и мавританской крови и невесть чего еще. Если я одно время думала об этом браке, то, конечно, это была слабость с моей стороны, да будет мне стыдно. А впрочем, на меня ведь влияло иностранное окружение и уговоры друзей, настоящих немцев, к чьим советам я относилась с уважением, и притом я одна на свете и стала несколько стеснена в средствах, так что, пожалуй, не заслуживаю слишком сурового осуждения. В конце концов, я женщина и нуждаюсь в твердом, но ласковом руководителе-муже, чья власть будет мне опорой, чьи принципы станут для меня...»

Фрау Риттерсдорф остановилась. Вдохновение иссякло, нужное слово не подвертывалось. Она прекрасно знала, что к любому вопросу есть лишь один-единственный верный подход – и всегда на все смотрела в точности так, как следовало и как ее научили. Она столько раз все это говорила и думала, к чему же повторяться? Она закрыла глаза, и ей представилось продолговатое смуглое лицо дона Педро, благородные черты, выражение суровое и вместе с тем благосклонное; на висках пробивается седина; от него так и веет истинно испанским богатством, испанской гордостью, их прочная основа – прежде всего большой пивоваренный завод в Мехико... ох, почему все это опять вспоминается и терзает ее? Почему одно время казалось почти несомненным, что он предложит ей руку и сердце? Так считали ее родичи в Мехико, тоже пивовары; в этом был уверен ее дорогой друг герр Штумпфен, консул, а сама она рисовала (в воображении) карточки – приглашения на помолвку... Фрау Риттерсдорф легонько стиснула зубы, открыла глаза, захлопнула записную книжку. Раздался сигнал к обеду, великолепный воинственный звук горна словно сзывал героев на битву. Фрау Риттерсдорф мигом поднялась, в глазах ее вспыхнуло девичье нетерпеливое ожидание. Уж конечно, она будет обедать за столом капитана.

– О господи, уже зовут обедать, мы опоздаем, – сказала жена профессору Гуттену, однако не выпустила из рук купальное полотенце, которое она держала под носом у Детки. Профессор довольно неумело подтирал сматыми газетами пол в ближнем углу. Белый бульдог с выражением безмерного стыда на широкой морде закатил глаза, и его опять стошнило в полотенце.

– О господи, господи, – терпеливо и горестно вздохнула фрау Гуттен. – У него уже морская болезнь, что же мы будем делать?

– Если помнишь, морская болезнь бывала у него и раньше, почти всю дорогу до Юкатана, да и с самого начала, – сказал профессор, свернул грязные газеты и остановился перед женой, величаво благосклонный, словно готов был прочесть многочисленным слушателям лекцию. – Нам не приходится ждать с годами серьезных изменений в деятельности его организма. Вспомни, он и щенком легко выходил из равновесия, чуть разволнуется – и даже соска ему не впрок, все обратно; а сейчас он тоже взволнован, и потому, без сомнения, так оно и пойдет, причем к концу симптомы, вероятно, усилятся.

От такой перспективы супруга профессора огорчилась еще больше:

– Но как же я оставляю его в таком состоянии?

Она сидела на полу горой рыхлых телес, Детка растянулся с нею рядом, оба одинаково беспомощны.

– И я не смогу встать, пока ты не вернешься, – напомнила она мужу. – Мое колено...

– Ты ни в коем случае не должна отказываться от обеда, – решительно заявил профессор. – Я посижу около него, а ты пойдешь поешь, не то вечером очень пожалеешь, что не обедала.

– Но, милый, подумай, тогда ты сам погибнешь с голоду, – сказала фрау Гуттен, снизу вверх благодарно глядя на мужа.

– Пустяки, – возразил он. – Ничего я не погибну, дорогая Кетэ; оттого что один раз не пообедаешь, нельзя умереть с голоду, можно только проголодаться, а это не так уж страшно. Человек вполне может обходиться без пищи сорок дней; современная наука подтверждает то, что сказано в Священном писании. Больше того, смею сказать, если у человека имеется избыточная полнота и у него в распоряжении вдоволь воды и, пожалуй, время от времени глоток чего-нибудь подкрепляющего... Впрочем, ничего такого не понадобится. В худшем случае ты пришлешь мне что-нибудь закусить. А еще лучше подложить Детке под голову чистое полотенце, а снизу побольше газет, и он прекрасно обойдется часок без нас.

Фрау Гуттен кивнула. Приподняла голову бульдога и внимательно на него посмотрела. Казалось, он чувствует себя лучше.

– Не думай, что папочка и мамочка тебя покидают, мое сокровище, – сказала она с материнской нежностью. – Мы очень скоро вернемся.

Профессор подхватил ее сзади под мышки с ловкостью, какая приобретается долгой практикой, помог подняться на ноги и обрести равновесие, потом сам принял меры, которые предложил для удобства Детки, а тот, похоже, очень мало интересовался и этими заботами, и всем вокруг.

– Ох, как все это трудно, – вздохнула фрау Гуттен и на миг прижалась головой к склоненному плечу мужа.

– Как-нибудь справимся, – успокоил ее профессор. Он понимал, что с Деткой, как всегда, предстоит много мороки, хуже того, будет сущее мученье. Нерадостная мысль, профессор тут же себя за нее упрекнул, но от правды никуда не денешься. – Ну, шагом марш, а то суп простынет! – воскликнул он, напускнутой веселостью прикрывая угрызения совести.

Рослая девица Эльза Лутц, Генрих Лутц и фрау Лутц неторопливо совершали первую скучную прогулку по палубе. Эльза чуть не на голову возвышалась над своими коротышками родителями, но шла между ними как послушная девочка, держась за их руки. Они остановились у какой-то железной решетки, поглядели сквозь нее вниз и увидели помещение, где кормились пассажиры третьего класса. Там рядами стояли заставленные едой узкие дощатые столы на козлах, и вдоль них – скамейки. Тянуло теплом, запахом стряпни, медленно входили и рассаживались люди. Лутцы узнали толстяка в темно-красной рубашке: пригнувшись, низко наклонив голову, он сосредоточенно обедал и все подкладывал себе еды посолоннее с больших блюд, расставленных полукругом перед его тарелкой.

– Боже милостивый, – не без удивления сказал папаша Лутц и надел очки, чтобы лучше видеть. – Выставлять пассажирам такую уйму еды! Как они только не прогорят?

Он был швейцарец, его отец, дед и прадед держали гостиницы, он и сам заправлял гостиницей в Мексике и к этой расточительности отнесся с чисто профессиональным интересом.

– Жареный картофель, – пробормотал он. – У него на тарелке, наверно, целый фунт. И тушеная свиная ножка с жареным луком, с квашеной красной капустой и гороховым пюре... ну, правда, все это продукты не из дорогих, а все-таки чего-то стоят. И кофе. Да еще фрукты и

Apfelstrudel⁶ – нет, они не могут продолжать в таком же духе и не остаться внакладе. Вы только посмотрите, как уплетает этот малый. Я и сам есть захотел, на него глядя.

Фрау Лутц – унылая, некрасивая, бесцветные сухие волосы уложены валиком, и из него во все стороны торчат железные шпильки – смотрела на все это с привычной, давно уже застывшей на ее лице смесью неизменного осуждения и добродетельного негодования.

– Они только для начала пускают пыль в глаза, – сказала она. – За время плавания они еще успеют на нас нажиться. А новая метла всегда чисто метет.

– Ты хочешь сказать, новый клиент все дочиста подъедает, – засмеялся муж.

Дочь тоже покорно, хотя несколько смущенно засмеялась; фрау Лутц отнеслась к мужниной шутке с заслуженным презрением и так и застыла с презрительной миной – пускай он знает, что она думает о его дурацких остротах. А муж продолжал смеяться – пускай она знает, что он может наслаждаться своими шутками и без нее.

– Смотри, папа, – сказала Эльза, снова наклоняясь к решетке, – а ведь в третьем классе пусто, всего-то десять или двенадцать пассажиров, а нам почему-то не хотели продать билеты третьего класса. Кассир в Мехико сказал, что для нас нет мест. Ведь правда, это очень нехорошо с его стороны?

– Да, отчасти, – согласился отец. – А в некотором смысле у них недурно дело поставлено. Вот мы в первом классе, куплены билеты, и вообще они уже заработали на нас триста пятьдесят долларов; переведи это в рейхсмарки – получатся солидные деньги...

– Но есть, наверно, еще какая-то причина, – сказала Эльза.

– Ну, для того, чтобы нас облапошить, всегда есть куча веских причин, и эта публика знает их все наперечет, – сказала фрау Лутц. – Не худо бы и тебе изучить эти причины и извлечь из них пользу, – заметила она мужу; в голосе ее звучало лелеемое годами, неуголенное и навек неуголимое озлобление. Семейство двинулось дальше – все трое одинаково неловкие и нескладные, не глядя друг на друга, глаза у каждого затуманены какими-то своими докучными мыслями.

– Скажи мне одно, бедная моя женушка, – заговорил глава семьи кротким, рассудительным тоном, который (он это знал) особенно бесил его супругу. – Разве в Мексике наши дела были так уж плохи? В любом смысле? Неужели ты воображаешь, что мы потерпели неудачу? Я думаю, совсем наоборот.

– А мне наплевать, что ты там думаешь, – сказала фрау Лутц.

– Ну, это уже слишком, даже для тебя, – отозвался Лутц. – Но мне-то ты все равно думать не помешаешь. А если когда-нибудь сама попробуешь пошевелить мозгами, так подумала бы: вот мы возвращаемся домой, все в добром здравии, с честно заработанными деньгами, и их хватит, чтобы открыть в Санкт-Галлене свою маленькую гостиницу.

– Да, а сколько лет прошло, – уныло сказала жена. – Теперь уже поздно, теперь все будет не так, как раньше, и Эльза уже взрослая, и она будет на родине как чужая... а какого труда стоило научить ее говорить сперва на родном языке, а не по-испански! Да, конечно, мы вернемся с шиком, и заведем свое дело, и станем важными персонами. А чего ради?

– Насчет важных персон – подожди, и увидишь, – сказал Лутц.

– Мама, – робко вмешалась Эльза, пытаясь перевести разговор на другое, – моя соседка по каюте – американка, знаешь, с ней был такой белокурый молодой человек. Я думала, они муж и жена, а ты? Но они в разных каютах.

– Очень жаль это слышать, – строго сказала мать. – Я надеялась, что ты будешь с кем-нибудь постарше, с какой-нибудь почтенной женщиной. А эта особа мне совсем не нравится – ну и вид, ну и манеры! Надо же – расхаживать по улице в штанах! И неужели этот ее спутник ей не муж?

⁶ Яблочный пирог (нем.).

– Да-а, мне так кажется, – неуверенно сказала Эльза, поняв, что и эта тема не удачнее прежней. – Но ведь они не в одной каюте.

– Не вижу разницы, – возразила мать. – Все это очень печально. Теперь слушай внимательно. Ты должна быть очень сдержанна с этой особой. Никогда не слушай ее советов и не подражай ей даже в мелочах. Будь с ней холодна, держись подальше. Тебя не должны видеть с нею на палубе. Не разговаривай с ней, не слушай ее. Ты попала в очень скверную компанию, и я постараюсь, чтобы тебя перевели в другую каюту.

– А там кто со мной будет? – спросила Эльза. – Тоже какая-нибудь иностранка.

– Да, правда, – вздохнула мать, оглядывая пассажиров, что были поблизости или шли навстречу. – Господи, как тут угадаешь? Другая может оказаться еще хуже! Ты, главное, слушайся меня!

– Хорошо, мама, – покорно сказала Эльза.

Отец улыбнулся ей:

– Дочка у нас умница. Смотри, всегда слушайся маму.

– Но знаешь, папа, когда эта женщина сменила брюки на юбку, она стала как все, она очень хорошо выглядит, ни капельки не похожа на американку.

Фрау Лутц покачала головой:

– Все равно держись от нее подальше. Она американка, не забывай. Как бы она там ни выглядела.

На палубу вышел горнист и весело затрубил, подавая сигнал к обеду. Семейство Лутц сейчас же повернуло и ускорило шаг. У трапа их нагнали и едва не опрокинули испанцы из бродячей труппы – нахлынули сзади, разделили, пробились меж ними, словно бурная волна – волна с острыми локтями. Семейство осталось далеко позади: когда официант нашел для них столик на троих – конечно, у стены, но, по счастью, возле иллюминатора, – испанцы уже уселись за большим круглым столом неподалеку от капитанского и шестилетние близнецы уже хватали с блюда сельдерей.

– Хорошо хоть, лица у них умытые, – сказала фрау Лутц и, заранее изобразив всем своим видом горькое разочарование, стала просматривать меню, – но было бы куда приятней, если бы они и шею тоже вымыли. Я отсюда вижу, у всех у них шеи серые, грязной пудрой, как корой, заросли. Вот, Эльза, ты все удивляешься, когда я тебе велю мыть шею и руки до локтей. И надеюсь, у тебя хватит ума никогда не пудриться.

Эльза опустила глаза, нос у нее так лоснился, что в глазах отсвечивало. Она потерла его платком, старательно подавила вздох и промолчала.

В кают-компании чистота и образцовый порядок. На столах цветы, белые наглаженные скатерти и салфетки, приборы так и сверкают. Официанты, похоже, полны бодрости и радуются началу очередного плавания, а лица новых проголодавшихся пассажиров смягчены приятным ожиданием. Капитана не видно, за капитанским столом гостей приветствовал доктор Шуман и объяснил им, что в первые ответственные часы плавания капитан обычно обедает прямо на мостике.

Все дружно закивали, великодушно признавая, сколь нелегка задача капитана благополучно вывести их из гавани; слышались степенные слова согласия, за столом сразу установилось взаимопонимание: среди избранных оказались профессор Гуттен с женой, Рибер, Лиззи Шпекенкикер, фрау Риттерсдорф, фрау Шмитт и единственный «приличный молодой человек» – миссис Тредуэл недавно видела его рядом с Дженни Браун. Его зовут Вильгельм Фрейтаг, он несколько раз повторил это, пока все они знакомились и усаживались за стол. Не прошло и трех минут, как фрау Риттерсдорф установила, что он «связан» с германской компанией по добыче нефти в Мексике, женат (какая жалость!) и направляется в Мангейм за своей молодой женой и ее матерью. Она сразу решила также, что хвастливый, хихикающий Рибер – просто пошляк и недостойн сидеть с остальными за капитанским столом. Фрау Шмитт и чета

Гуттен тотчас почувствовали взаимную симпатию, едва выяснилось, что все они преподавали в немецких школах, причем Гуттены – в Мехико.

Рибер, настроенный как нельзя лучше, сперва поминутно подмигивал Лиззи, но, очутившись в таком почтенном обществе, присмирел и попросил разрешения всех угостить: стаканчик вина – доброе начало знакомству. Предложение приняли единодушно и весьма благосклонно. Появилось вино – настоящий «нирштейнер домталь» лучшей марки, в Мексике его так трудно достать, а если и достанешь, оно так дорого, и все они так по нему стосковались и так его любят – доброе, прекрасное, истинно немецкое белое вино, нежное, как цветок. Они вдохнули аромат ледяного напитка в бокалах, глаза их увлажнились, они лучезарно заулыбались друг другу. И пошли легонько чокаться, обмениваться добрыми приветливыми словами, пожеланиями здоровья и счастья, и выпили.

Так все вышло правильно, так любезно, просто очаровательно, все чувствовали – это поистине прекрасная минута. И с волчьим аппетитом накинулись на отличную, солидную немецкую еду. Наконец-то, наконец-то все они возвращаются домой – и здесь, на корабле, впервые их объединило одно и то же чувство: неким таинственным образом они уже ступили на почву Отечества. Ощущая прилив бодрости и сил, они порой отрывались от обильной еды и, утирая жующие рты, молчаливо кивали друг другу. Доктор Шуман ел немного, как человек, привыкший к умеренности, который успел уже забыть времена, когда он бывал по-настоящему голоден. Пассажиры, увлеченные едой и питьем, поглядывали на него с восхищением. Перед ними был высший образец истинно немецкой воспитанности; возвышенная, гуманная профессия еще прибавляла ему блеска, а великолепный шрам свидетельствовал, что он – питомец одного из лучших университетов, человек храбрый и хладнокровный: такой большой шрам на самом удачном месте означал, что обладатель его понимает все значение *Mensur*⁷ – приметы, по которой узнается истинный германец. А если он немного рассеян и задумчиво-молчалив – что ж, у него есть на то право, ведь он важное лицо, обременен нешуточными обязанностями судового врача.

– Тут есть свиные ножки, Дэвид, лапочка, – сказала Дженни Браун.

Впервые за три дня она так назвала Дэвида Скотта. А он был настроен не столь примирительно – он рассудил, что едва ли в ближайшие дни вернет ей имя Дженни-ангел... а то и вовсе не вернет. Сколько нервозности может выдержать любовь? Сколько ссор?

– Я подзубриваю немецкий по всяким надписям, по кранам с горячей и холодной водой и прочее, но тут почти все говорят по-французски или по-английски, а то и оба языка знают. Вот хотя бы тот человек, я с ним прошла по палубе. Вон тот, за капитанским столом. С такой неотразимой прической. Я даже и не думала, что он немец, пока он сам не сказал...

– Сэтакой рожей? – спросил Дэвид.

– А чем плохая рожа?

– Слишком явно немецкая.

– Как тебе не стыдно, Дэвид, лапочка! Ну и вот, я хотела с ним попрактиковаться в немецком, но с первых же слов он просто не выдержал – и надо признать, он говорит по-английски куда лучше меня, прямо как заправский англичанин. Я думала, он воспитывался в Англии – ничего подобного, это его в Берлине в школе так обучили... Ну а моя швейцарка... говорила я тебе? Я попала в одну каюту с той швейцарской дылды... так вот, она ходит в белом полотняном корсете, обшитом кружевами. Пари держу, ты таких никогда не видал...

– Такие носила моя мать, – сказал Дэвид.

– Дэвид! Неужели ты подсматривал, когда твоя мама одевалась?

– Нет, я сидел посреди кровати и смотрел на нее.

⁷ Дуэль, фехтование; die Mensur – старый обычай, особенно распространенный среди немецких студентов-буршей.

– Ну так вот, – продолжала Дженни, – моя швейцарка, не считая немецкого, говорит по-испански, по-французски, по-английски и еще на каком-то наречии, она его называет ретороманским, а ей только-только исполнилось восемнадцать. И со мной она желает разговаривать только по-английски, хотя уж испанским-то я владею не хуже ее. Если и дальше так пойдет, никакому языку не научишься.

– Эти люди не типичны, – сказал Дэвид. – Да и мы тоже. Они просто бродяги, ездят по разным странам и на каждой границе меняют деньги и язык. И мы тоже. Посмотри на меня – я даже русский учу...

– Да, я смотрю на тебя, – с восхищением сказала Дженни. – Но ты даже изучаешь грамматику по учебнику, а мне это и в голову не приходило. Грамматика мне не по зубам, это уж точно, но она мне как-то и ни к чему.

– Слышала б ты себя иной раз, так знала бы, что она бы тебе совсем не помешала, – заметил Дэвид. – Иногда ты такое ляпнешь – то есть когда говоришь по-испански, просто чудовищно.

– В этой голубой рубашке ты прямо красавчик, – сказала Дженни. – Надеюсь, тебя это не угнетает. Ох, я умираю с голоду! Веракрус в этот раз был невыносим. Что с ним только случилось? Я всегда вспоминала этот город с нежностью, а теперь видеть его больше не хочу.

– А по-моему, он какой был, такой и есть, – сказал Дэвид. – Жара, тараканы, и народ там все такой же.

– Ну нет, – возразила Дженни, – раньше я любила гулять там вечерами, после дождя, когда все такое чистое, умытое, и цветут жасмин и магнолия, и дома тоже как вымытые, все краски светлые, яркие. Вдруг выйдешь на какой-то незнакомый перекресток или площадь с фонтаном – такие они спокойные, только и ждут, чтобы кто-то взялся за кисть и написал их, и все выглядит по-особенному, совсем не так, как днем. Окна все распахнуты, из них струится бледно-желтый мягкий свет, широкие постели окутаны белыми облаками кисеи от москитов, люди полураздетые, полусонные и движутся уже словно во сне или сидят на маленьких балкончиках и просто наслаждаются свежим воздухом. Это было чудесно, Дэвид, и я так все это любила. И все-все здешние жители держались так просто, приветливо. А один раз была ужасная, великолепная гроза, и молния ударила в лифт моей гостиницы, в нескольких шагах от моей комнаты, меня чуть не убило. Вот было весело! По-настоящему опасно было, а все-таки я осталась жива!

Дэвид сказал холодно, недоверчиво:

– Ты никогда прежде мне об этом не рассказывала.

– Надеюсь, – сказала Дженни. – Во второй раз было бы скучно слушать. А почему ты никогда не веришь, если я вспоминаю что-нибудь хорошее? Хоть бы раз дал мне вспомнить о таком, что было прекрасно. – Она чуть помолчала и прибавила: – Уж наверно, если бы ты там был, все это выглядело бы по-другому.

Она всматривалась в Дэвида, как хирург в оперируемого, но в его сухом, непроницаемом лице по обыкновению ничто не дрогнуло от боли.

– С кем же ты тогда ездила, что все было так прекрасно?

– Ни с кем. Я ездила одна и видела все по-своему, и некому было все мне испортить.

– И не надо было спешить на пароход.

– Нет, с нью-йоркского парохода я сошла. Девять чудесных дней – на борту ни души знакомой, я только и разговаривала, что с официантом да с горничной.

– Они, наверно, были весьма польщены, – съязвил Дэвид-лапочка. Но удовлетворения при этом не ощутил.

Дженни положила нож и вилку, отпила глоток воды.

– Не знаю, – сказала она серьезно, словно обдумывая вопрос первостепенной важности, – право не знаю, смогу ли я высидеть все плавание за одним столом с тобой. Но я рада, что мы хотя бы в разных каютах.

– Я тоже рад, – мгновенно отозвался Дэвид, глаза его холодно блеснули.

И оба в унынии смолкли. Ну почему все ни с того ни с сего идет наперекос? И оба, как всегда, понимали, что не будет этому конца, потому что, в сущности, не было и начала. Они топчутся по кругу этой вечной ссоры, точно клячи на привязи: опять и опять все то же, пока не выбьются из сил или не одолеет отчаяние. Дэвид упрямо продолжал есть, и Дженни снова взялась за вилку.

– Я готова это прекратить, если и ты прекратишь, – сказала она наконец. – С чего у нас начинается? Почему? Никогда я этого не понимаю.

Дэвид знал – она уступает наполовину от усталости, наполовину от скуки, но он был благодарен за передышку. Притом она ведь нанесла меткий удар, так что ей, наверно, полегчало.

Нет, он ей этого не простил; он еще выберет минуту, застанет ее врасплох и сквитается, и посмотрит, как она побледнеет, – сколько раз уже так бывало; она прекрасно понимает, когда ей достается в отместку, и признает: хоть это и варварство, а справедливо. Соображает по крайней мере, что не вся же игра в одни ворота, не надеется всякий раз ускользнуть от возмездия, и уж он позаботится, чтобы это ей не удалось. В душе-то он холоден, потому и сильнее! И, сознавая свою силу, он одарил Дженни ласковой улыбкой, перед которой она неизменно таяла, и накрыл ее руку своей.

– Дженни, ангел, – сказал он.

И миг она ощутила в сердце робкое, недоверчивое тепло (она ничуть не сомневалась, что ее сердце способно чувствовать). Она прекрасно знала, стоит ей «размякнуть», как выражается Дэвид, и пощадит от него не жди. И все-таки не выдержала. Наклонилась к нему через столик, сказала:

– Милый ты мой! Давай постараемся быть счастливыми. Мы же первый раз путешествуем вдвоем, давай не будем все портить – и тогда будет так славно. Я постараюсь, правда же, Дэвид, лапочка, даю слово... давай оба постараемся. Ты же знаешь, я тебя люблю.

– Надеюсь, – с коварнейшей мягкостью отозвался Дэвид.

Неведомо почему, она готова была заплакать, но сдержалась: ведь для Дэвида ее слезы – просто еще одна чисто женская хитрость, которую при случае пускают в ход. А он с чуть заметной улыбочкой следил – заплачет или не заплачет? Она никогда еще не устраивала сцен на людях. Но она улыбнулась ему, подняла бокал вина и потянулась к нему чокнуться.

– Salud⁸, – сказала она.

– Salud, – сказал Дэвид.

И они выпили до дна.

Обоим было совестно, что каждый пробуждает в другом все самое плохое; когда они только полюбили друг друга, каждый надеялся остаться для другого идеалом: они были отчаянные романтики – и из боязни выдать свое сокровенное, обнаружить и узнать в другом что-то дурное становились бесчестными и жестокими. В минуты перемирия оба верили, что их любовь чиста и великодушна, как им того хочется, и надо только быть... какими же нам надо быть? – втайне спрашивал себя каждый – и не находил ответа. Лишь в такие вот короткие минуты, как сейчас, когда они выпили за примирение, злая сила отпускала их, и можно было легко, спокойно вздохнуть, и они давали себе и друг другу туманные клятвы хранить верность... чему? Верность своей любви... и постараться... Но Дэвид, уж во всяком случае, понимал, что в его стараниях быть счастливым кроется, пожалуй, половина беды, причина наполовину в этом. А вторая половина?..

⁸ Салют, привет; при тосте – ваше здоровье! (исп.)

– Итак, за счастье, – сказал он и снова чокнулся с Дженни.

Было еще совсем светло, но августовское солнце уже клонилось к далекому горизонту, отбрасывая на воду огненную полосу, и она тянулась за кораблем, словно масляный след. Дамочки особой профессии вышли на палубу в одинаковых вечерних нарядах: платье черного шелка чуть не до пояса открывает ослепительную гладкую спину, сверкают яркими пряжками открытые туфельки. Неспешно разгуливая по палубе, они повстречались с двумя священниками, те тоже неспешно прогуливались, – недобрые губы сжаты, точно челюсти капкана, неумолимый взгляд не отрывается от молитвенника. Дамочки почтительно склонили головы, святые отцы не удостоили их ответом, а быть может, и вправду их не заметили. Уильям Дэнни прошел круг за дамочками следом, для безопасности немного поотстав, порой он приостанавливался, словно бы что-то его заинтересовало за бортом, и судорожно глотал – чуть заметно вздрагивал кадык. Новобрачные полулежали в шезлонгах и молча любовались закатом – руки сплетены, загадочно затуманенные взоры устремлены вдаль.

Няня-индианка вынесла младенца и тихо вложила в неловкие, неуверенные руки молодой матери. Фрау Риттерсдорф приостановилась возле них с непринужденностью женщины, которая хоть и не обзавелась собственными детьми и не устает благодарить за это судьбу, но невольно ценит возвышенные страдания материнства, коими наслаждаются другие. Сочувственно, понимая улыbnулась матери, тихонько опустила на колени и мгновение любовалась божественным чудом жизни, восхищаясь пушистыми бровками, нежным ротиком, нежнейшим – на зависть – бело-розовым личиком; мать отвечала вежливой, натянутой улыбкой: сын уже и так избалован, думала она, хоть бы посторонние оставили его в покое; просыпается по ночам и кричит, и тянет из нее все соки, такое свинство, а она измучена до смерти, чуть не плачет и ей хочется одного – спать.

– Какой прекрасный мальчик! – сказала фрау Риттерсдорф. – Он у вас первый?

– Да, – сказала мать, и лицо ее омрачилось тайным страхом.

– Отличное начало, – продолжала фрау Риттерсдорф. – Настоящий маленький генерал. El generalissimo!

Немецкие друзья говорили ей, что каждый второй мексиканец либо генерал, либо намерен стать генералом, либо хотя бы сам называет себя генералом.

Молодую мать против ее воли немного смягчила эта лесть, хоть и грубая, в истинно немецком стиле. Генералиссимус, надо же! Какая пошлость! Но, конечно, ее малыш великолепен, приятно слышать, когда его хвалят, да еще по-испански, хоть и с таким ужасным акцентом. А фрау Риттерсдорф ухитрилась перевести разговор с младенца на мать; заговорила – и вполне прилично – по-французски, отчего мексиканка пришла в восторг, она гордилась тем, как сама владеет французским. Фрау Риттерсдорф с удовлетворением узнала, что ее соседница – супруга атташе мексиканского представительства в Париже и сейчас едет к мужу; прежде ей нельзя было – «Сами видите, почему» – к нему присоединиться. Фрау Риттерсдорф возрадовалась: ей, женщине весьма светской, так приятно встретить среди пассажирок даму из дипломатических кругов – вот и нашлось наконец подходящее общество! А сеньора Эсперон-и-Чавес де Ортега как-то помрачнела, стала несколько рассеянной – впрочем, пожалуй, это и естественно для молодой женщины, еще непривычной к материнству. Генералиссимус открыл глаза, замахал кулачками и ангельски зевнул прямо в лицо фрау Риттерсдорф. Мать едва заметно сдвинула брови:

– О, пожалуйста, пожалуйста, не будите его. Он только что заснул. Вы не представляете, как мы с ним измучились – животик и все такое!

Чувствуя, что ее отвергли, фрау Риттерсдорф тотчас поднялась и распрощалась с преувеличенной любезностью, больше похожей на грубость. Нет, эта мексиканка, видимо, не очень-то умна, а пожалуй что и не очень хорошо воспитана. Трудно разобраться, какие там мерки

у этих темнокожих, хотя какие-то мерки у них, наверно, есть; даже дон Педро из Мехико – ведь он так и не попросил ее руки, хотя, казалось бы, все к этому шло... разве же не таилось в этом человеке что-то зловещее? А между тем... неужели просто потому, что он – владелец большого пивоваренного завода? Иногда ей казалось, будто он такой достойный человек, проникшийся германским духом, и она совсем размягчилась и позволила сбить себя с толку... Страшно подумать! Она вздрогнула, покачала головой и ускорила шаг.

После ужина все столики в маленьких гостиных рядом с баром были заняты: пассажиры углубленно строчили письма, последние приветы Мексике отправлены будут в Гаване. Одни лишь испанские танцовщицы разгуливали по палубе – они жили настоящей минутой. В Мексике у них друзей не осталось, да и в Испании нашлось бы очень немного, и это их ничуть не трогало. От них все явственней веяло неким страстным пылом. Кожа их источала запах амбры и мускуса, в волосах рдели свежие цветы, то одну, то другую можно было увидеть где-нибудь в темном уголке, в более или менее близком соседстве с кем-нибудь из светловолосых молодых моряков.

Молодые помощники капитана были все как на подбор без гроша, отлично вымуштрованы, преданы своей профессии и усердно откладывали все, что могли, из своего скудного жалованья, чтобы можно было жениться; у каждого на левой руке поблескивало гладкое кольцо дешевого золота – знак, что он уже обручен, и, прикованные к своему тесному, вечно движущемуся миру, они ни в одном порту не сходили на берег. Сойти на берег – это стоит денег и может повести к международным осложнениям, да и слишком много на свете портов. А у молодых моряков имеются очень определенные и не такие уж обременительные обязанности перед пассажирками: к примеру, танцевать по вечерам с теми дамами, которых никто другой не приглашает, ни одну не оставить без внимания, быть благоприличными и любезными кавалерами. Не то чтобы при этом разрешалось заходить слишком далеко – но, уж если тебе идут навстречу, отчего и не воспользоваться случаем, были бы только соблюдены внешние приличия. Ну а с этими испанками приличия соблюсти трудновато, дай бог, чтоб все не чересчур било в глаза.

Во многих дальних плаваниях они встречались со многими пассажирками и почти все на опыте научились некоторой осмотрительности. И вот в первый же вечер каждый из осторожных молодых моряков в белоснежных кителях с золотыми или серебряными нашивками на воротнике и на плечах по обязанности рыцаря, но и не без приятного волнения, сам не замечая, как это случилось, уже обнимает на удивление сильную, но гибкую, истинно испанскую талию, с несмелой надеждой заглядывает в огненные очи – и в глубине их читает один лишь холодный деловой расчет.

Постоянно возникают какие-то помехи, непостижимым образом пары разъединяются, создаются новые – и час еще не поздний, а, похоже, все уже кончилось: наверняка из-за денег, решил Вильгельм Фрейтаг, который разговорился за кружкой пива с Арне Хансеном. Оба за вечер подметили кое-какие любопытные сценки.

– Из-за чего же еще, – отозвался Арне Хансен.

Он особенно внимательно следил за одной испанкой, и сердитые голубые глаза его, оттаяв, засветились простодушным восхищением. Красавица, спору нет, того же типа, что и остальные, и все же чем-то на них не похожа, хотя Хансен и не мог бы объяснить, в чем разница. У всех четырех дивные черные глаза, блестящие черные волосы гладко зачесаны на уши, у всех изящная походка, чуть покачиваются стройные бедра, узкие ножки с высоким подъемом безжалостно стиснуты узенькими черными туфлями-лодочками. Все сильно накрашены, нарумянены – тонкие недобрые губы подрисованы ярко, жирно, грубо и кажутся вдвое толще, чем на самом деле; но Хансен уже проведал: ту, что нравится ему больше других, зовут Ампаро.

Мысленно он уже оценивает первое препятствие: его запас испанских слов ничтожен. Ампаро же, насколько ему удалось узнать, говорит только по-испански.

– Просто не представляю, чем они занимаются – понятно, кроме того, чем заняты сейчас, – сказал Вильгельм Фрейтаг. – Настоящий цыганский табор. В Веракрусе, я видел, они плясали прямо на улицах и собирали с прохожих деньги.

Хансен мог его несколько просветить. Это бродячие актеры из Гранады, может быть, они и цыгане, во всяком случае, выдают себя за цыган. В Мексике они совсем прогорели – обычная участь таких перелетных птиц, он слышал, что великая Пастора Империи и та осталась чуть ли не нагишом, – и мексиканское правительство, как всегда бывает, за свой счет отправило их на родину. Довольно опасная публика, заметил Фрейтаг, особенно мужчины – подозрительнейшие личности, с виду сущие разбойники: низкие лбы, свирепые глаза, какая-то смесь танцора из кабака, сводника и наемного убийцы.

Хансен внимательно посмотрел на испанцев.

– Пожалуй, не так уж они опасны, – рассудил он, – могут что-нибудь учинить, только если твердо уверены, что не попадутся.

И он непринужденно откинулся на спинку стула, расправил широкие плечи, вытянул длинные ноги далеко под стол.

Четверо танцоров сидели в баре с близнецами, явно стараясь оставаться в тени, чтобы женщины без помехи пускали в ход свои чары. Они были молчаливы, эти мужчины, в движениях крайне сдержанны и не в меру грациозны и притом настороженны, точно кошки. Пили кофе чашку за чашкой, беспрестанно курили; а дети, тихие и послушные, какими при женщинах никогда не бывали, под конец припали к столу, уронили головы на руки и уснули.

Устало подперев голову рукой, фрау Баумгартнер сидела за столиком вдвоем с мужем, который с самого начала этого долгого вечера непрерывно пил, чтобы утишить неотступную боль. Волосы его были уже влажны и прилипли к вискам. После еды боль в желудке ненадолго отпустила, но в страхе, что она вот-вот вернется, он поспешил проглотить первую порцию коньяку с водой. Боли эти начались года два назад, когда Баумгартнер проиграл одно за другим три крупных дела в мексиканском суде. Жена знала, почему он их проиграл: он беспробудно пил, а потому не мог толком подготовиться к защите, не мог произвести выгодное впечатление на суд. За всем этим стояла печальная загадка: отчего он начал пить? Он не мог этого объяснить и не мог противиться неодолимой жажде. Час за часом, весь день и до позднего вечера, он пил, не получая от этого ни удовольствия, ни радости, ни облегчения, – пил безвольно, беспомощно, терзаясь угрызениями совести, и все же снова и снова рука его тянулась к бутылке и он наливал себе коньяк со страхом и с дрожью в самом прямом смысле слова.

В те считанные дни, когда удавалось уговорить его не пить (а это случалось очень редко), он ложился в постель с отчаянными болями в желудке и корчился и стонал, пока не приходил их постоянный врач и не давал ему опий. Приглашали консультантов, и каждый высказывал свою догадку, смотря по специальности: язва, загадочный хронический заворот кишок, острая (или хроническая) инфекция того или иного свойства, один как-то даже намекнул на рак; но никто не мог принести больному облегчения. Казалось, ему не становится хуже, но и улучшения никакого не было. Фрау Баумгартнер, к своему стыду, уже не верила, что муж и вправду болен. Она и сама не знала, чему верит, а в сущности, не верила ничему; неверие это было смутное, темной тучей надвигалось подозрение, что мужнина болезнь, если когда-нибудь ее удастся распознать, обернется каким-то ужасным обвинением ей, жене. Ведь это общеизвестно: если брак несчастлив или муж – неудачник в делах, виновата жена, и никто другой. А ей кого же винить, как не себя, ведь она сама не раз повторяла, что ее муж – лучший и добрейший из мужчин. Когда-то он подарил ей любовь – то, что она считала любовью, он был верен и ласков всегда, неизменно, день за днем, год за годом, внимателен и заботлив. До тех

пор пока он не начал безрассудно тратиться на выпивку, у них был славный, уютный дом, были сбережения; и деньги их, слава богу, надежно вложены в немецкие акции, ведь марка поднялась, дела процветают и все в Германии идет к лучшему. Муж прошел всю войну и возвратился без единой царапины – это уже само по себе чудо, он бы должен благодарить судьбу, но нет – о том, что он выгадал в те годы, он всегда говорит с горечью. Они поженились сразу после войны и уехали в Мексику – страна эта стала для немцев новой землей обетованной... Но что же случилось, чем провинилась она, отчего их жизнь обернулась таким несчастьем? Казалось, все шло так хорошо...

– Ах, Карл, не надо больше, это уже четвертый стакан, а с обеда еще и двух часов не прошло...

– Я не могу иначе терпеть, Гретель, не могу, ты просто не понимаешь, какая это боль!

Все та же вечная жалоба. Лицо его сморщилось, губы кривятся и дрожат; пустые ярко-голубые глаза от страдания вспыхивают злобой.

– Но разве это помогает, Карл? Завтра все начнется сначала.

– Прошу тебя, Гретель, потерпи еще немного. Еще глоточек – и мне хватит на весь вечер, даю слово. – От горя, от стыда он низко опускает голову. – Прости меня, – просит он так униженно, что жена за него краснеет.

– Не надо так, дорогой, – говорит она. – Выпей, если тебе от этого легче.

Она наклоняется и пристально разглядывает скатерть, только бы не видеть, как кривится его лицо от боли, которую он и не пробует ни скрыть, ни одолеть. Врачи посоветовали ему вернуться на родину, быть может, это его вылечит. Она так надеялась, что спокойное долгое плавание, легкая, налаженная жизнь на корабле, вдали от мнимых друзей-собутыльников и от тех мест, где он потерпел неудачу, положит начало исцелению. Но ничего этого не будет. Баумгартнер осушил высокий стакан до дна.

– А теперь помоги мне, дорогая, – сказал он плаксиво.

Он поднялся, покачиваясь, она стала рядом. Муж тяжело оперся на ее руку, они пошли через переполненный бар к выходу, и фрау Баумгартнер, не глядя по сторонам, отчетливо ощущала, с каким презрением все смотрят на ее пьяницу-мужа, который прикидывается больным.

За отведенным ему отдельным маленьким столиком Юлиус Левенталь изучил меню – длинный список «нечистых» блюд – и спросил омлет с зеленым горошком. Выпил в утешение полбутылочки доброго белого вина (одно всегда затруднительно в путешествиях – найти что-то съедобное в мире, где почти безраздельно хозяйничают дикари) и съел на десерт немного фруктов. Потом отправился на поиски – беспокойно бродил по салону, по бару, затем по палубам; но никто с ним не заговорил, а стало быть, и он ни с кем не заговаривал. Бросал короткий испытующий взгляд на всех и каждого, а сам старался быть незаметнее, но все надеялся увидеть хоть одного соплеменника. Трудно поверить. За всю жизнь с ним никогда еще такого не случилось – но вот оно, то, чего он пуще всего боялся: на пароходе нет больше ни одного еврея. Ни одного. Немецкий пароход идет обратно в Германию – и он единственный еврей на борту. До сих пор ему было как-то не по себе, теперь стало по-настоящему страшно, потом душу захлестнула неприязнь к чуждому, враждебному миру иноверцев, что всегда была у него в крови. И с этой приливной волной вернулось мужество – не совсем окрепшее, оно все же возвратило ему силу духа и здравый смысл. Он еще раз прошел по кораблю, теперь уже смелее глядя на людей, скрывая тревогу под напускным спокойствием... но нет, к чему искать дальше? Окажись тут еще один, его усадили бы за тот же столик. Два еврея всегда узнают друг друга. Что ж, не с кем будет поговорить, но ведь ничего не стоит держаться со всеми попутчиками приветливо; пускай плавание пройдет как можно спокойнее, что за корысть напрашиваться на неприятности. Он сел в баре неподалеку от вполне достойной с виду немолодой четы христиан – оба очень полные, у ног их прикорнула белая собака; если они с ним заговорят, можно про-

вести полчаса за какой ни на есть беседой, все-таки лучше, чем ничего, а на большее рассчитывать не приходится. Но первым он никогда не заговаривал, неизвестно, на что нарвешься, а эти двое на него и не посмотрели. После двух кружек пива он решил, что устал и пора спать.

Каюта была пуста, только стояли чемоданы попутчика. Левенталь убрал подальше свой коммивояжерский чемодан с образцами, достал скромные туалетные принадлежности, устроился на нижней койке и прочитал молитвы, гадая, что за сосед ему достался. Может быть, вполне приятный человек. В конце концов, по крайней мере в делах, он встречал среди христиан очень порядочных людей. Может быть, и сосед по каюте из таких. Он лежал, не погасив свет, не в силах успокоиться, и все ждал, что же за человек войдет в каюту. Наконец дверь отворилась, он поспешно поднял голову.

– Gruss Gott, – поздоровался он, еще не разглядев вошедшего.

Зигфрид Рибер остановился как вкопанный. И тотчас его пухлая физиономия и нос пятачком выразили величайшее отвращение, он сдвинул брови и выпятил губы.

– Добрый вечер, – сказал он ледяным тоном, раз и навсегда пресекая всякие мысли о дальнейшем общении.

Левенталь откинулся на подушку, он сразу понял – положение хуже некуда, – впрочем, кажется, он с самого начала это понимал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.